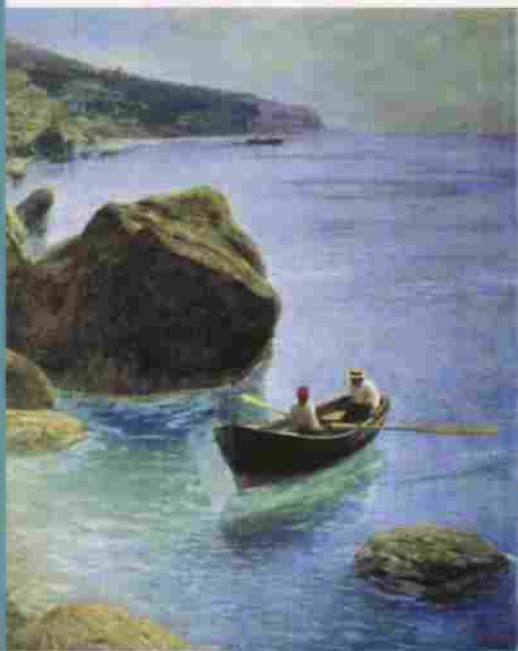


ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ



АСТ
АСТРЕЛЬ

АЛЕКСАНДР
ГРИН

ГРИН

821.161.1-31-

1785

2016/157

10219

Триш А:

Восстановление

2016/157
10219

Александр
ГРИН

Золотая цепь

Рассказы



act
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
МОСКВА
ВКМ
Владимир

УДК 821.161.1 - 31 -
ББК 84(2Рос=Рус)6
Г85

Проза, рус.
2010 г.

Грин, А.С.

Г85 Золотая цепь: [роман]. Рассказы /Александр Грин. -
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.- 316, [4] с.

ISBN 978-5-17-064587-9 (ООО «Изд.во АСТ») (С.: Внкл. чтение)

ISBN 978-5-271-26828-1 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-226-02081-0 (ВКТ)

Серийное оформление А.А. *Логотовой*

Компьютерный дизайн Г.В. *Смирновой*

ISBN 978-5-17-064586-2 (ООО «Изд.во АСТ») (С.: ВП-2)

ISBN 978-5-271-26827-4 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-226-02082-7 (ВКТ)

Серийное оформление А.А. *Кудряцева*

Компьютерный дизайн Г.В. *Смирновой*

ISBN 978-5-17-064588-6 (ООО «Изд.во АСТ») (С.: КнВВ-2)

ISBN 978-5-271-26829-8 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-226-02083-4 (ВКТ)

Серийное оформление А.А. *Кудряцева*

Компьютерный дизайн Ю.М. *Мардановой*

ISBN 978-5-17-064589-3 (ООО «Изд.во АСТ») (С.: Русская классика)

ISBN 978-5-271-26830-4 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-226-02084-1 (ВКТ)

Серийное оформление А.А. *Кудряцева*

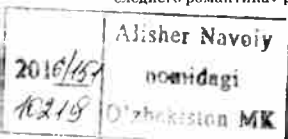
Компьютерный дизайн Ю.М. *Мардановой*

В книгу вошли роман «Золотая цепь» и рассказы А. Грина, «последнего романтика» русской литературы XIX века.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

© ООО «Издательство АСТ», 2010



Золотая цепь

I

«Дул ветер...» — написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн; на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике, с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова:

«Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит эта пчела — Грусть. Над-

пись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, — прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать — понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в окно.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как щелчки, дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»: там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел. Моольс сказал:

— Он нашел клад.

— Нет, — возразил Патрик, — он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал, — заговорил ленивый, укравший у меня складной нож, Каррель — Гусиная шея, — что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу, — заявил Болинас, повар, — иначе так сразу не построишь дворцов.

— Не спросить ли у «Головы с дыркой», — осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне), — у Санди Пруэля, который *все знает*?

Гнусный — о, какой гнусный! — смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в

гавани. Он производил крепкое действие — в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньола» ушел к сестре, а шкипер и его брат сидели в трактире, — но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой порой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой — столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, — как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пень.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, скованным золотыми крепами.

«Почему ему так повезло, — думал я, — почему?..»

Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, — с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу», по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты: разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я сам, по требованию шкипера, украл на палубе «Западного зерна»; похищенный кем-то у меня резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое, все мной, стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получать. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого време-

ни упорно решал вопрос — «кто я — мальчик или мужчина?» Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина»; мне представлялись санюги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, — она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик», — то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребяташках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина — что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!» — то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неуютно. Был ветер. «Вой!» — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. «Лей!» — говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, — не только мой счет со шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаемое тело...

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без схода. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну, кто там?! — громче сказал первый. — В кубрике свет; эй, молодцы!»

Тогда я вылез и увидел, — скорее различил во тьме, — двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они сто-

яли оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был выше, сказал:

— Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал — густо, окладисто, с хрипотой — что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» — или: «Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и сказал также, куда ушли остальные.

— В таком случае, — заявил спутник высокого человека, — не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, — здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик — песня — шепот: «Тайна — очарование! Тайна — очарование!» «Неужели *началось?*» — спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечашь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике, против посетителей — они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, — увы! — имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоче-

нивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапогов с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, — следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг! — сказал старший. — Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом! — ответил я. — Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме, достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили. — И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», — я хорошенько не понял, — так был я возбужден и счастлив, что соленая, сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного происхождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими: «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена, или, как мы называли его, «Троячка» — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимет два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше... и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить со шкипером, — сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

— Вот твой заработок сегодняшней ночи, — сказал он, — здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива; ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда, с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрестить бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отпыльные и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, — стать к рулю. Вообще будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, тащевать.

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О нет! — сказал Эстамп. — Но мы... гм... слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

— Плывем... О рай земной! — Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае... Вы, конечно, знаете... Вы не подведете меня, — пробормотал я.

Все переменялось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в

шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, — два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер, и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и, как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место, или нет? Не пойму».

«Верно, то, — должен сказать брат. — Это самое место и есть, — вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...»

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, впившейся в мои волосы. Несмотря на отдаляющее меня от беды расстояние, впечатление это предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная, плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот; и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки; одна нога отставлена далеко, другая — под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запираю), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

— Клянусь брамселем, — сказал я, — славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело! — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. — Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте, — донесся ответ. — Я думаю, не опоздаем ли мы?

— А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой, — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. — Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

— Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов, — сказал я с скромной гордостью. На самом деле никакой семьи у меня не было. — Море и ветер — вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его; он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут, или странный характер, — сказал он, подавая мне папиросу. — Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить, — ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности, — сказал улыбаясь Дюрок. — Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я, как мог взросло, покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга. Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты и множество затейливых неожиданностей.

Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать! — ответил Дюрок рассеянно. — Боюсь, что нам будет не до тебя. — Он повернулся к окну и крикнул: — Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая заочевшие руки, сказал:

— Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь, мечты!

— Что я сделаю? — переспросил я. — Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как?! — сказал Эстамп. — А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей *душеньке*.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька — вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня, — лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязненькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть по рассеянности, «Томми», — и я басом поправил его, сказав:

— Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захочетав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? — закричал он в окно. — Подругу Санди зовут Лукреция!»

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, — но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп, — ответил Дюрок.

Новое унижение! — от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мне лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодецкато ответил: «Есть так держать!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон, он запомнился мне. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньола», как качель; поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы нако-

нец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел; огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну что, — сказал он, хлопая меня по плечу, — вот мы подплываем. Смотри!

Слева, во тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом? — спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни — «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол; по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, — вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, спускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон, напротив, — резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что, Ганувер? — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. — Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие. — И он объяснил, куда

отвести судно. — Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся. и дай Бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Кажется, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды.

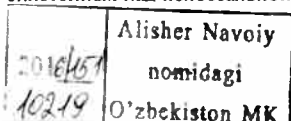
— Ты капитан, что ли? — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. — У, какой синий! Замерз?

— Черт побери! — сказал я. — И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю? — Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца. — Какую же это такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся, словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда, слева и справа, блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм; и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной ча-



шей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх, еще ступени — мы прошли дальше — указывали поворот влево: я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем; три двери, с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов, и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

— Поймай-ка, — сказал Том, — я поговорю тут с одним человеком, — и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, — меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибором миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара в другую и пробороzdили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих и орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка, — сказал он, заметно весело вытирая рот.

На этот раз идти было недалеко, — мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько косяк и простых столов.

— Я думаю, нам не помешают, — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. — Ну-ка, выпей, а там принесут, что тебе надо, — и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное — так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой, — вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

— Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях, — говорил он, — вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. — Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову вбок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь, — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. — Санди! — кри-

чал он, тряся злополучную мою руку. — А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю!»

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения: «В чем дело?» А я только поворачивался, взглядом разя насмешников — человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек». — «Как варят соус тортю?» — «Эй, эй, что у меня в руке?» — «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» — «Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!» Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»

Я подвержен гневу, и, если гнев взорвал мою голову, не много надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался!» Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхолический и прекрасно одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, как была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова, — сказал Том. — покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома, Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги, — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. — Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак, — сказал я. — Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

— Так... а все-таки, может быть, хорошо все знать. — Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

— Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю, — сказал я, упрямывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах — искра неизвестных соображений.

— Это хорошо, да... — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились: тогда, подведя меня за рукав к столу, Том указал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, — я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался, вместе с едой, усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелейтишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отка-

зываясь от следующих, видимо готовых подхватить, «вилок», выйду и вернусь на «Эспаньолу», где на всю жизнь случай этот так и останется «случасем», о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно «могшего быть» и «неразъясненного сущего». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло, — напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной (а, как я сказал, помещение было без двери, — ее заменял сводчатый широкий проход) несколько человек, остановясь — или сойдясь случайно, — вели разговор, непонятный, но интересный, — вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

— Ну что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Спят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя, а все пьют, такая компания.

— А эта шельма, Дигэ, чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амурсы, а может быть, он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я».

— Значит, пей; значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, и я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, — нигде ничего нет.

— Да, поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?! — Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда?! Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется — Кваль, Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая ухвертка и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

— Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни! Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне; спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

— Да, не узнать парня. И лицо его стало другим, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей, — я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смот-

рел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

— Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет, — сказал он, — но я не в духе и буду придираюсь ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, — среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуте чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задерживать вздох, изменить настроение; что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени

китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, поддав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

— Санди, которого вы желали видеть, — вот он, — затем исчез. Я обернулся — его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди, — устало сказал кто-то. Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам, с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа, в большой качалке, полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, — немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. — Они как приехали на твоём корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер. Садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

— Итак, — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — ты любишь «море и ветер»!

Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах, — сказал Ганувер молодой даме. — Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один — нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

— Волны и эскадрильи! — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокочущим басом. — Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался — с несколько мрачным лицом — безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мной и Ганувером.

— Что ж, — сказал он, кладя мне на плечо руку, — Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем, — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, легонько подсмеиваясь или серьезно, — я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне

в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

— А помнишь, как ты меня напоил?

— А разве вы напились?

— Ну как же, я упал, здорово стукнулся головой о скамейку. Признайся — «огненная вода», «клянусь Лукрецией», — вскричал он, — честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же, он «все знает», честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, — иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, — тем хуже для них; опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя, как часть некоей истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, славленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отrapортовал:

— Если я что-нибудь знаю, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное, — здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку, — я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится, — сказал Ганувер. — Однако не надо ссориться, Санди.

— Посмотри на меня, — сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и рад был провалиться сквозь землю. — С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянув на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, несколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба!» — и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди, — сказал он. — Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть замечен, в отношении всех здесь собравшихся, некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, — но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний, — значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи *состояний* отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер, — сказал Дюрок: встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, несвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

— Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать... — Он не договорил, что разбирать. — Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантьяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй, — все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

— Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали как команда в игре в солдатики:

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках, — так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке — круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, — мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть — каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились, — сказал он, — похитили судно, славная штука, честное слово!

— Едва ли я рисковал, — ответил я, — мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не внакладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины! — Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. — Не будем говорить сегодня о библиотеке, — продолжал он, когда я уселся. — Правда, что я за эти дни все запустил, — материал залежался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же, — сказал я, радуясь, что могу наконец удивить этого изящного юношу. — Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор», потом «Всадник без головы»...

— Простите, — перебил он, — я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу или лучше — послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках, — сказал Поп. — Имя хозяина Эверест Ганувер, я — его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на «Мелузине» сущая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить, — сказал Поп, — что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди: вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы.

«Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я, — сказал Поп, указывая одну дверь, и, открыв другую, прибавил: — А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах. — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. — Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги? (А я как раз так и думал.) Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, — например, перочинный нож, — но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дялюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь, — сказал Поп, оглядывая помещение. — Несколько тесновато, но рядом библиотека,

где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О да, — сказал я, нервно хихикнув. — Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

— У вас много вещей? — благосклонно спросил он.

— Как же, — ответил я, — одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

— Пять?.. — Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. — Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, — по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза — обед, три раза — ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном. — Он растолковал мне, как звонить, затем сказал в блестящую трубку: — Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец. — Поп обернулся ко мне: — Что вы желаете?

— Пока ничего, — сказал я с стесненным дыханием. — Как же едят в стене?

— Боже мой! — Он восторженно увидел, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. — Я должен идти. В стене не едят, конечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно как для вас, так и для слуг... Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел, еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери!» — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажда вызывая в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: «Кресло, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало». Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно-перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением моей души. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, тридцать пять золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потеряннным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я, не менее основательно, убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трюм, где, при свете факелов, люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям, по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь, — медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трюм окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет», — и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался — метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я отгасил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкап должен был быть полон, — в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ, — с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, — догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу, — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь действительно никого нет, — проговорил Галуэй.

— Да. Так вот, — она словно продолжала оборванный разговор, — это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не самомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше! — сказал Галуэй. — А обещание?

— Конечно. Я думаю, — через нас. Но не говори Томсону. — Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. — Его выгоднее, для будущего, держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай... Прелестное издание, — продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в слержанный тон. — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти...

— Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, — сказал Галуэй. — Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает.

Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше, — не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб — страстишка.

Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

— В таком случае, — заметил Галуэй, — я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, — совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка. «Вас ис дас?» Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего, по своей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поницу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылушил из непонятого все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щель двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода — куда! — хотя бы в стену. И тут я заметил, справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, с смелой надеждой, что пространство расширится, — безрезультатно. Наконец я повернул ее

влево. И произошло — ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? — произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме, — сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований, — перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование) — быть одному в таинственных, запретных местах. Если я чего опасался, то, единственно, большого труда выбраться из тайного к явному, — обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди, ради целей — откуда мне знать — каких? — беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать,

что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться; я испытывал огромное удовольствие, более — глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаюсь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трения о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои определили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, всталась насладиться исследованиями. Как только искушение завиляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно — чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра, да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в высоту же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным ме-

стам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты — двери или сторонние проходы, ступающие в немом свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол — серым и черным в шахматном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен, до кафеля на правильном расстоянии друг от друга, блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница с сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения походов в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние, от конца до конца прохода, в 250 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось; следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой — что могло бы обусловить выбор, — они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или

иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчался, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усиление; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевать второй коридор, с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроюсь, что еще слышал сердцебиение.

Однако, придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение, замысловатее прежнего, — ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из таких ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако, когда я ее толкнул, она поддалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкаю-

шими к проходным аркам. Высоко вверх тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но, имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть выключатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом, обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это?! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним, вверх, к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз с зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более диковинные, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь, как мяч, — все их движения были страшны и дики. Цепенея, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в отместку за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно

смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее — нижняя — была затенена снизу, отделяя сверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям, привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся: вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было светло там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход, имея мраморный пол из серых с синими узорами плит, был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянувшихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загадочной проход створчатой двери не совсем обычного вида: она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкапа, где можно было стать трим. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды; но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то есть чтоб на него сели. Не трудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая — кого? или чего? — мне это предстояло узнать. Не менее внушительен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки

не могли быть устроены для вредных или вообще опасных действий, так что, нажимая их, я могу ошибиться, но никак не рискую своей головой, — я поднял руку, намереваясь произвести опыт.

Совершенно естественно, что в моменты действия с неизвестным воображение торопится предугадать результат, и я, уже нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: «Где? Кто? Эй! Сюда!» — представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил. «Н-да-с! — сказал я. — Мы далеко ушли, дялюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого ложа и, согрев тумачком, приказали бы идти стучать в темное окно трактира «Заверни к нам», «чтоб дали бутылку»... Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час... день... минуту... как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовишные размахи, и ему подвертывались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карликов, — седебородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым огнем в глазах. Тут стало мне жутко; решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружился, опи-

сывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменявших одно другое, и так быстро, что не решался выскочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, являсь на момент ровень с клеткой, исчезали, как исчезали в свою очередь разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, по видимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день. Зная я способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок, еще не испробованных мной, каждая представляла шараду. Не зная почему, представление об остановке связалось у меня с нижней из них; но, решив, после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вертеться всю жизнь, я со злобой прижал эту кнопку, думая: будь что будет. Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью — по счету сверху — и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем это было вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. Поочередно, почти не сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул — конечно, случайно — ту кнопку, которую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась как вкопанная против коридора на неизвестной высоте, и я вышел пошатываясь.

Теперь, зная я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен и направился куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство. К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен: где я ходил, как

спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекающие ходы, — не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы, как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и устался в противоположную стену коридора, где светло и пусто переждала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох, всевозможные звуки, но улавливал только свое дыхание.

Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить, — шло несколько человек; с какой стороны, — разобрать я еще не мог; наконец шум, становясь слышнее, стал раздаваться справа. Я установил, что идут двое, женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами, слова смутно пролетали под сводом, так что нельзя было понять разговор. Я прижался к стене, спиной в сторону приближения, и скоро увидел Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это или действительно было так, но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно, — я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх, и, как мог глубже, ушел в тень. Но, пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились; остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду. Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на женщину совер-

шенно больными глазами. Правую руку он держал приподнято, поводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвернув наклоненную голову с печальным выражением лица, и была очень хороша теперь, — лучше, чем я видел ее в первый раз; было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное, из вежливости или расчета.

— В том, что неосвязаемо, — сказал Ганувер, продолжая о неизвестном. — Я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий. — У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию. — Но у меня словно завязаны глаза, и я пожимаю, — непрерывно жму множество рук, — до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала:

— Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе. Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, нечто, не повторявшееся долго, лет десять, пока не стало натурально свойственным, — это состояние, которое сейчас опишу. Я стал *представлять ощущения беседующих*, не понимая, что держу это в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера, *соразмеряя длину паузы, ловя, так сказать, нужное, не пропустив должного биения времени*, после которого, как ни незаметно мала эта духовная мера, говорить будет уже поздно, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча *продолжал видеть то множество рук, о котором только что говорил*, и думал о руках вообще, когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот взгляд, *он немедленно отозвался в воображении Дигэ физическим прикосновением ее ладони к таинственной невидимой*

струне: разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом:

— Вот эта рука!

Как только она это сказала, — мое тройное ощущение за себя и других кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер взял руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта читаем мы на расстоянии печатный лист — угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем, что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку, — без особого увлечения, но очень серьезно, сказав:

— Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

— Отлично, — сказала она, развеселясь и краснея, — мне очень, очень жаль вас. Без любви... Это странно и хорошо.

— Без любви, — повторил он, — быть может, она придет... Но и не придет, — если что...

— Ее заменит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

— Теперь, — сказал Ганувер, — ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из которого вышел. Отлично. Я — Аладин, а эта стена, — ну, что вы думаете, — что это за стена? — Он как будто развеселился, стал улыбаться. — Видите ли вы здесь дверь?

— Нет, я не вижу здесь двери, — ответила, забавляясь ожиданием, Дигэ. — Но я знаю, что она есть.

— Есть, — сказал Ганувер. — Итак... — Он поднял руку, что-то нажал, и невидимая сила подняла вертикальный стеной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шею и нашел, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового

тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату: правая часть ее была от меня скрыта, — по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два человека, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты — камеры без окон — были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть. Слева у стены, на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь, средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза, — так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я догадался, что это — золото, чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

— Вот она, — сказал Ганувер, засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. — Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый букашьер. Говорят, что он возил с собой поэта Касторуччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну, и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец,

как видите, сохранилась надпись: «6 апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона».

Дигэ что-то сказала. Я слышал ее слова, но не понял.

Это была строка или отрывок стихотворения.

— Да, — объяснил Ганувер, — я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с якорем, чтобы удрать от английских судов, настигших его внезапно. Вот и следы, — видите, здесь рубили. — Он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено. — Случай или судьба, как хотите, заставили меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде, все дальше от берега, на глубину, — и споткнулся, задев что-то твердое большим пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и приметил место, выложив на берегу ряд камней, по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

— Один?! Какая сила нужна!

— Нет, вдвоем, — сказал Ганувер, помолчав. — Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытягивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей, и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее... моя... мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью, на берегу, — при лунном...

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекла свет в его расстроенном лице, и он стер ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив взгляд к цепи, казалось, отсутствовала, так *не к разговору* выглядело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

— Ваш... компаньон, — сказала она очень медленно, — оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в нем, затем отпустил.

Трос грохнулся тяжелой струей.

— Я не забывал о нем. Он умер, — сказал Ганувер, — это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распорядиться, как он хочет, моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что состояние мое возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалил мое золото, где хотел, — в нефти, каменном угле, биржевом поту, судостроении и... я уже забыл где. Я только получал телеграммы. Как это вам нравится?

— Счастливая цепь, — сказала Дигэ, нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его. — Не могу.

Она выпрямилась, Ганувер сказал:

— Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор как я выкупил ее и спаял, вы — первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова:

— Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза, сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся страшно тихо,

дрожа и сверкая, выполоз помраченный взгляд — странный и глухой блеск; только мгновение снял он. Дигэ опустила голову, тронув глаза рукой и вздохнув, выпрямилась, пошла, но пошатнулась, и Ганувер поддержал ее, глядящаясь с тревогой.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, так... Я... я представила трупы; людей, привязанных к цепи; пленников, которых опускали на дно.

— Это делал Морган, — сказал Ганувер, — Пирон не был столь жесток, и легенда рисует его скорее пьяницей-чудакком, чем драконом.

Они вышли, стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но... хотел ступить и не мог. Ноги околели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднял кое-как другую и переставил ее; она была тяжела и опустилась, как на подушку, без ощущения. Проволочив к ней вторую ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние околдованности длилось минуты три и исчезло так же внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и припомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, походив среди груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

— Так, вот что, — бессмысленно твердил я, выйдя наконец из засады и бродя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать открытия. Женщина заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась передо мной, ползла по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос; кто знает, — не осталось ли там и на мою долю. Я

выташил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю, иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я, остановясь, резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владело мной, когда, почти падая от изнурения, подкравшегося всесильно, я остановился у тупика, похожего на все остальные, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв гулом, пошло грохотать по всем пространствам, вверху и внизу.

VII

Я не удивился, когда стена сошла с своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер, и оба бросились ко мне, втаскивая меня за руки, за ноги, так как я не мог встать. Я опустился на стул, смеясь и изо всей силы хлопая себя по колену.

— Я вам скажу, — проговорил я, — они женятся! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкаф, и теперь судите, как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен — и баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лязгнуло о зубы. Я выпил вино, во тьме свалившегося на меня сна еще успев разобрать, как Дюрок сказал:

— Это ничего, Поп! Санди получил свою порцию; он утолил жажду необычайного. Бесплезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент потери сознания был краток и шкипер немедленно стащит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову, и курил.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обладут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее — быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку в спину:

— Я виноват.

— Санди. — сказал он, встрепенувшись и садясь рядом, — виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормотал о разговоре в библиотеке. Это для меня очень важно, и я поэтому не сержусь. Но слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было с тобой.

Я хотел встать, Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикий сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, неутоленная сладость мякла во всех членах. Поспешно собрав мысли, а также закурив, что было моей утренней привычкой, я рассказал, припомнив, как мог точнее, разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не расспрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

— Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда, — заметил он наконец, очень, по-видимому, озабоченный, — впрочем, я вижу, что тебе везет. Ты выпался?

Дюрок не расслышал моего ответа: задумавшись, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резнуло накурен-

ный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел осматриваясь. Великолепие этой комнаты, с зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки красоты в сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие по мехам и коврам, — все это было чрезмерно для меня, — оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь в море, когда стоишь на палубе, хмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

— Мы поедem, Санди, — сказал, перестав ходить, Дюрок, — потом... но что предисловия?.. Хочешь отправиться в экспедицию?..

Думая, что он предлагает Африку или другое какое место, где приключения неистощимы, как укусы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью:

— Да! Тысячу раз «да»! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы.

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся.

— Не так далеко, как ты, может быть, хочешь, но — в «страну человеческого сердца». В страну, где темно.

— О, я не понимаю вас, — сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под суровым лбом. — Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

— Очень нужно, потому что мне кажется, — ты можешь пригодиться, и я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному Пустырю?

Он спрашивал о предместье Лисса, называвшемся так со старинных времен, когда города почти не было, а на каменных столбах мыса, окрещенного именем «Сигнальный Пустырь», горели ночью смоляные бочки, зажигающиеся с разрешения колониальных отрядов как знак, что суда могут

войти в Сигнальную бухту. Ныне Сигнальный Пустырь был довольно населенное место со своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

— Думаю, — сказал я, — что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провозясь там порядочно времени, вернулся, одетый как прибрежный житель, так что от его светского великоления осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороде котелок; вокруг шеи — клетчатый шарф, а на ногах — поверх коричневых, верблюжьего сукна, брюк — мягкие сапоги с толстой подошвой. Люди в таких вот нарядах, как я видел много раз, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на набережной, среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы «Купи в долг» или «Застрахуй без нужды».

Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание. Дюрок подошел к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горячей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа, — столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев кар-

миновый графин с коньяком — все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря:

— Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся.

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми зайчиками графина, я сбился в темпе, стал ежеминутно ронять то нож, то вилку: одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше, я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку, которую не решался сказать, но сказать очень хотел и, может быть, не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

— В чем дело? — сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

— Кто вы такой? — спросил я и про себя ахнул. «Сорвалось-таки! — подумал я с горечью. — Теперь держись, Санди!»

— Я? — сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд, серый как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил: — Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я — шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав в уме шашечную доску с игральными костями и картами. «Одним словом, — игрок!» — подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а, напротив, укрепив свое восхищение. Игрок — значит, молодчинище, хват, рискованный человек. Но, будучи поощрен, я

вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась и вошел Поп.

— Герои спят, — сказал он хрипло; был утомлен, с бледным, бессонным лицом, и тотчас тревожно уставился на меня. — Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку, и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, о лифте, аквариуме и золотой цепи.

— Ну, вот видите! — сказал Поп Дюроку. — Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне это самое Дигг: «Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль». Ясно, о чем речь. Все глаза будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой соединит ток.

— Так. Пусть соединит! — сказал Дюрок. — Хотя... да, я понимаю вас.

— Конечно! — горячо подхватил Поп. — Я положительно не видел такого человека, который так верил бы, был бы так убежден. Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

— Оставьте его, — сказал Дюрок, — он будет нужен.

— Не много ли? — Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно. — Впрочем, как знаете.

— Что за советы без меня? — сказал, появляясь, сверкающий чистотой Эстамп. — Я тоже хочу. Куда это вы собрались, Дюрок?

— Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

— А! Вылазка в тренешушие траншеи! Ну, когда мы появимся — два таких молодца, как вы да я, — держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что? Уже ели? И выпили? А я еще нет? Как вижу, — капитан с вами и суемудрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?!

Я фыркнул, так как не мог обидеться.

Эстамп присел к столу, хозяйничая и накладывая в рот что попало, также облегчая графин.

— Послушайте, Дюрок, я с вами!

— Я думал, вы останетесь пока с Ганувером, — сказал Дюрок. — Вдобавок, при таком шекотливом деле...

— Да, вовремя вернуть слово?

— Нет. Мы можем смутить...

— И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы!

— Я говорю серьезно, — настаивал Дюрок, — мне больше нравится мысль провести дело не так шумно.

— Как я ем! — Эстамп поднял упавший нож.

— Судя по всему, что я знаю, — вставил Поп, — Эстамп очень вам пригодится.

— Конечно! — вскричал молодой человек, подмигивая мне. — Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вляпываться в ваш деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить... Ведь так, Санди?

— Если вы говорите серьезно, — ответил я, — я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

— Что? Дюрок, слышите голос капитана? Как он это изрек!

— А почему вы думаете об опасности? — серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. «Пылающий мозг и холодная рука», — как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что

от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, преодолеваний и золотых цепей веет опасностью точно так же, как от молока — скукой, от книги — молчанием, от птицы — полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

— Потому что такой разговор, — сказал я, — и, клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто меньше всех знает. Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело, сделаю все, что вы хотите.

— В таком случае вы переоденьтесь, — сказал Дюрок Эстампу. — Идите ко мне в спальню, там есть кое-что. — И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

Не зная, что будут они делать на Сигнальном Пустыре, я тем временем побывал там мысленно, как бывал много раз в детстве. Да, я там дрался с подростками и ненавидел их манеру тыкать в глаза растопыренной пятерней. Я презирал эти жестокие и бесчеловечные уловки, предпочитая верный, сильный удар в подбородок всем тонкостям хулиганского измышления. О Сигнальном Пустыре ходила поговорка: «На пустыре и днем — ночь». Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре: там же процветали пьянство, контрабанда и шайки — целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального Пустыря — это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников: он никогда не улыбался и не расставался с ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что было не на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда

один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел остановить, чтобы, слово за слово, начать свару. Вечным припевом его было: «У нас, там...», «Мы не так», «Что нам до этого», — и все такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвостуны с ножами за пазухой.

Немного погодя явился Эстамп, разряженный в синий китель и синие штаны кочегара, в потрепанной фуражке; он прямо подошел к зеркалу, оглядев себя с ног до головы.

Эти переодевания очень интересовали меня, однако смелости не хватало спросить, что будем мы делать, трое, на Пустыре. Казалось, предстоят отчаянные дела. Как мог, я держался сурово, нахмуренно поглядывая вокруг с значительным видом. Наконец Поп объявил, что уже девять часов, а Дюрок — что надо идти, и мы вышли в светлую тишину пустынных великолепных стен, прошли сквозь набегающие сияния перспектив, в которых терялся взгляд, потом вышли к винтовой лестнице. Иногда в большом зеркале я видел себя, то есть невысокого молодого человека, с гладко зачесанными назад темными волосами. По-видимому, мой наряд не требовал перемены, он был прост: куртка, простые новые башмаки и серое кепи.

Я заметил, когда пожил довольно, что наша память лучше всего усваивает прямое направление, например, улицу; однако представление о скромной квартире (если она не ваша), когда вы побывали в ней всего один раз, а затем пытаетесь припомнить расположение предметов и комнат, есть наполовину собственные ваши упражнения в архитектуре и обстановке, так что, посетив снова то место, вы видите его иначе. Что же сказать о гигантском здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался, как стрекоза, среди огней ламп, в сложных и роскошных простран-

ствах? Естественно, что я смутно запомнил те части здания, где была нужда самостоятельно вникать в них, — там же, где я шел за другими, я запомнил лишь, что была путаница лестниц и стен.

Когда мы спустились по последним ступеням, Дюрок взял от Попа длинный ключ и вставил его в замок узорной железной двери; она открылась на полутемный канал с каменным сводом. У площади, среди других лодок, стоял парусный бот, и мы влезли в него. Дюрок торопился; я, правильно заключив, что предстоит спешное дело, сразу взял весла и развязал парус. Поп передал мне револьвер; спрятав его, я раздулся от гордости, как гриб после дождя. Затем мои начальники махнули друг другу руками. Поп ушел, и мы вышли на веслах в тесноте сырых стен на чистую воду, пройдя под конец каменную арку, заросшую кустами. Я поднял парус. Когда бот отошел от берега, я догадался, отчего выплыли мы из этой крысиной гавани, а не от пристани против дворца: здесь нас никто не мог видеть.

VIII

В это жаркое утро воздух был прозрачен, поэтому против нас ясно виднелась линия строений Сигнального Пустыря. Бот взял, с небольшим ветром, приличный ход. Эстамп правил на точку, которую ему указал Дюрок; затем все мы закурили, и Дюрок сказал мне, чтобы я крепко молчал не только обо всем том, что может произойти в Пустыре, но чтобы молчал даже о самой поездке.

— Выворачивайся как знаешь, если кто-нибудь пристанет с расспросами, но лучше всего скажи, что был отдельно, гулял, а про нас ничего не знаешь.

— Солгу, будьте спокойны, — ответил я, — и вообще положитесь на меня окончательно. Я вас не подведу.

К моему удивлению, Эстамп меня более не дразнил. Он с самым спокойным видом взял спички, которые я ему вернул, даже не подмигнув, как делал при всяком удобном случае; вообще он был так серьезен, как только возможно для его характера. Однако ему скоро надоело молчать, и он стал скороговоркой читать стихи, но, заметив, что никто не смеется, вздохнул, о чем-то задумался. В то время Дюрок расспрашивал меня о Сигнальном Пустыре.

Как я скоро понял, его интересовало, чем занимаются жители Пустыря и верно ли, что об этом месте отзываются неодобительно.

— Отъявленные головорезы, — с жаром сказал я, — мошенники, не приведи Бог! Опасное население, что и говорить. — Если я сократил эту характеристику в сторону утраченности, то она была все же на три четверти правдой, так как в тюрьмах Лисса восемьдесят процентов арестантов родились на Пустыре...

Вообще, как я уже говорил, Сигнальный Пустырь был территорией жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни, что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться. Я там три раза дрался с местной молодежью, без всяких причин, только потому, что я был из города и парни «задирали» меня.

Все это, с небольшим умением и без особой грации, я изложил Дюроку, недоумевая, какое значение могут иметь для него сведения о совершенно другом мире, чем тот, в котором он жил.

Наконец он оставил меня, начав говорить с Эстампом. Было бесполезно прислушиваться, так как я понимал слова, но не мог осветить их никаким достоверным смыслом. «За-

путанное положение», — сказал Эстамп. «Которое мы распутаем», — возразил Дюрок. «На что вы надеетесь?» — «На то же, на что надеялся он». — «Но там могут быть причины серьезнее, чем вы думаете». — «Все узнаем!» — «Однако Дигэ...» — Я не расслышал конца фразы. «Эх, молоды же вы!» — «Нет, правда, — настаивал на чем-то Эстамп. — правда то, что нельзя подумать». — «Я судил не по ней, — сказал Дюрок, — я, может быть, ошибся бы сам, но психический аромат Томсона и Галуэя довольно ясен».

В таком роде размышлений вслух о чем-то хорошо им известном разговор этот продолжался до берега Сигнального Пустыря. Однако я не нашел в разговоре никаких объяснений происходящего. Пока что об этом некогда было думать, так как мы приехали и вышли, оставив Эстампа стертую лодку. Я не заметил у него большой охоты к бездействию. Они условились так: Дюрок должен прислать меня, как только выяснится дальнейшее положение неизвестного дела, с запиской, прочтя которую Эстамп будет знать, оставаться ли ему сидеть в лодке или присоединиться к нам.

— Однако почему вы берете не меня, а этого мальчика? — сухо спросил Эстамп. — Я говорю серьезно. Может произойти сдвиг в сторону рукопашной, и вы должны признать, что на весах действия я кое-что значу.

— По моим соображениям, — ответил Дюрок. — В силу этих соображений пока что я должен иметь послушного, живого подручного, но не равноправного, как вы.

— Может быть, — сказал Эстамп. — Санди, будь послушен. Будь жив. Смотри у меня!

Я понял, что он в досаде, но пренебрег, так как сам чувствовал бы себя тускло на его месте.

— Ну, идем, — сказал мне Дюрок, и мы отошли, но должны были на минуту остановиться.

Берег в этом месте представлял каменистый спуск, с домами и зеленью наверху. У воды стояли опрокинутые лодки.

сушились сети. Здесь же бродило несколько человек, босиком, в соломенных шляпах. Стоило взглянуть в их бледные заросшие лица, чтобы немедленно замкнуться в себе. Оставив свои занятия, они стали на некотором от нас расстоянии, наблюдая, что мы такое и что делаем, и тихо говоря между собой. Их пустые, прищуренные глаза выражали явную неприязнь.

Эстамп, отплыв немного, стал на якорь и смотрел на нас, свесив руки между колен. От группы людей на берегу отделился долговязый человек с узким лицом; он, помахав рукой, крикнул:

— Откуда, приятель?

Дюрок миролюбиво улыбнулся, продолжая молча идти; рядом с ним шагал я. Вдруг другой парень, с придурковатым, наглым лицом, стремительно побежал на нас, но, не добежав шагов пяти, замер как вкопанный, хладнокровно сплюнул и поскакал обратно на одной ноге, держа другую за пятку.

Тогда мы остановились. Дюрок повернул к группе оборванцев и, положив руки в карманы, стал молча смотреть. Казалось, его взгляд разогнал сборище. Поохотав между собой, люди эти вернулись к своим сетям и лодкам, делая вид, что более нас не замечают. Мы поднялись и вошли в пустую узкую улицу.

Она тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса — смех, брань, надоедливый, протяжный зов. Лаяли собаки, петухи пели. Наконец стали попадаться прохожие: крючковатая старуха, подростки, пьяный человек, шедший опустив голову, женщины с корзинами, мужчины на подводах. Встречные взглядывали на нас слегка расширенными глазами, проходя мимо, как всякие другие прохожие, но, миновав некоторое расстояние, останавливались; обернув-

шись, я видел их неподвижные фигуры, смотрящие вслед нам сосредоточенно и угрюмо. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мостикам над оврагами, мы остановились у тяжелой калитки. Дом был внутри двора; спереди же, на каменной ограде, через которую я мог заглянуть внутрь, висели тряпки и щиповки, сушившиеся под солнцем.

— Вот здесь, — сказал Дюрок, смотря на черепичную крышу, — это тот дом. Я узнал его по большому дереву во дворе, как мне рассказывали.

— Очень хорошо. — сказал я, не видя причины говорить что-нибудь другое.

— Ну, идем, — сказал Дюрок, и я ступил следом за ним во двор.

В качестве войска я держался на некотором расстоянии от Дюрока, а он прошел к середине двора и остановился оглядываясь. На камне у одного порога сидел человек, чиня бочонок: женщина развешивала белье. У помойной ямы копался мальчик лет шести.

Но, лишь мы явились, любопытство обнаружилось моментально. В окнах показались забавные головы; женщины, раскрыв рот, выскочили на порог и стали смотреть так настойчиво, как смотрят на почтальона.

Дюрок, осмотревшись, направился к одноэтажному флигелю в глубине двора. Мы вошли под тень навеса, к трем окнам с белыми занавесками. Огромная рука приподняла занавеску, и я увидел толстый, как у быка, глаз, расширивший сонные веки свои при виде двух чужих.

— Сюда, приятель? — сказал глаз. — Ко мне, что ли?

— Вы — Варрен? — спросил Дюрок.

— Я — Варрен; что хотите?

— Ничего особенного, — сказал Дюрок самым спокойным голосом. — Если здесь живет девушка, которую зовут Молли Варрен, и если она дома, я хочу ее видеть.

Так и есть! Так я и знал, что дело идет о женщине, пусть она девушка, — все едино! Ну, скажите, отчего это у меня было совершенно непоколебимое предчувствие, что, как только уедем, — явится женщина? Недаром слова Эстампа «упрямая гусеница» заставили меня что-то подозревать в этом роде. Только теперь я понял, что угадал то, чего ждал.

Глаз сверкнул, изумился и потеснился дать место второму глазу; оба глаза не предвещали, судя по выражению их, радостной встречи. Рука опустила занавеску, поманив пальцем.

— Зайдите-ка, — сказала этот человек сдавленным, ненатуральным голосом, тем более неприятным, что он был адски спокоен. — Зайдите, приятель!

Мы прошли в небольшой коридор и стукнули в дверь налево.

— Войдите, — повторил нежно тот же спокойный голос, и мы очутились в комнате. Между окном и столом стоял человек в нижней рубашке и полосатых брюках — человек так себе, среднего роста, не слабый, по-видимому, с темными гладкими волосами, толстой шеей и перебитым носом, конец которого торчал как сучок. Ему было лет тридцать. Он заводил карманные часы, а теперь приложил их к уху.

— Молли? — сказал он.

Дюрок повторил, что хочет видеть Молли.

Варрен вышел из-за стола и стал смотреть в упор на Дюрока.

— Бросьте вашу мысль, — сказал он. — Оставьте вашу затею. Она вам не пройдет даром.

— Затей у меня нет никаких, но есть только поручение для вашей сестры.

Дюрок говорил очень вежливо и был совершенно спокоен. Я рассматривал Варрена. Его сестра представилась мне похожей на него, и я стал угрюм.

— Что это за поручение? — сказал Варрен, снова беря часы и бесцельно прикладывая их к уху. — Я должен посмотреть, в чем дело.

— Не проще ли, — возразил Дюрок, — пригласить девушку?

— А в таком случае не проще ли вам выйти вон и прихлопнуть дверь за собой! — проговорил Варрен, начиная тяжело дышать. В то же время он подступил ближе к Дюроку, бегая взглядом по его фигуре. — Что это за маскарад? Вы думаете, я не различу кочегара или матроса от спесивого идиота, как вы? Зачем вы пришли? Что вам надо от Молли?

Видя, как страшно побледнел Дюрок, я подумал, что тут и конец всей истории и наступит время палить из револьвера, а потому приготовился. Но Дюрок только вздохнул. На один момент его лицо осунулось от усилия, которое сделал он над собой, и я услышал тот же ровный, глубокий голос:

— Я мог бы ответить вам на все или почти на все ваши вопросы, но теперь не скажу ничего. Я вас спрашиваю только: дома Молли Варрен?

Он сказал последние слова так громко, что они были бы слышны через полураскрытую в следующую комнату дверь, — если бы там был кто-нибудь. На лбу Варрена появился рисунок жил.

— Можете не говорить! — закричал он. — Вы подосланы, и я знаю кем — этим выскочкой, миллионером из ямы! Однако проваливайте! Молли нет. Она уехала. Попробуйте только производить розыски, и, клянусь черепом дьявола, мы вам переломаем все кости!

Потрясая рукой, он вытянул ее свирепым движением. Дюрок быстро взял руку Варрена выше кисти, нагнул вниз, и... и я неожиданно увидел, что хозяин квартиры, с яростью и мучением в лице, брякнулся на одно колено, хватаясь другой рукой за руку Дюрока. Дюрок взял эту, другую, руку Варрена и тряхнул его — вниз, а потом — назад. Варрен упал на локоть, сморщившись, закрыв глаза и прикрывая лицо.

Дюрок потер ладонь о ладонь, затем взглянул на продолжавшего лежать Варрена.

— Это было необходимо, — сказал он, — в другой раз вы будете осторожнее. Санди, идем!

Я выбежал за ним с обожанием и восторгом зрителя, получившего высокое наслаждение. Много я слышал о силачах, но первый раз видел сильного человека, казавшегося не сильным, *не таким* сильным. Я весь горел, ликовал, ног под собой не слышал от возбуждения. Если таково начало нашего похода, то что же предстоит впереди?

— Боюсь, не сломал ли я ему руку, — сказал Дюрок, когда мы вышли на улицу.

— Она срастется! — вскричал я, не желая портить впечатления никакими соображениями. — Мы ищем Молли?

Момент был таков, что сблизил нас общим возбуждением, и я чувствовал, что имею теперь право кое-что знать. То же, должно быть, признавал и Дюрок, потому что просто сказал мне, как равному:

— Происходит запутанное дело: Молли и Ганувер давно знают друг друга, он очень ее любит, но с ней что-то произошло. По крайней мере на завтрашнем празднике она должна была быть, однако от нее нет ни слуха ни духа уже два месяца, а перед тем она написала, что отказывается быть женой Ганувера и уезжает. Она ничего не объяснила при этом.

Он так законченно выразился, что я понял его нежелание приводить подробности. Но его слова вдруг согрели меня внутри и переполнили благодарностью.

— Я вам очень благодарен, — сказал я как можно тише. Он повернулся и рассмеялся:

— За что? О, какой ты дурачок, Санди! Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — сказал я, — но скоро будет уже семнадцать.

— Сразу видно, что ты настоящий мужчина, — заметил он, и, как ни груба была лесть, я крикнул, ошарашенный свыше меры. Теперь Дюрок мог, не опасаясь непослушания, приказать мне обойти на четвереньках вокруг залива.

Едва мы подошли к углу, как Дюрок посмотрел назад и остановился. Я стал тоже смотреть. Скоро из ворот вышел Варрен. Мы спрятались за углом, так что он нас не видел, а сам был виден нам через ограду, сквозь ветви. Варрен посмотрел в обе стороны и быстро направился через мостик поперек оврага к поднимающемуся на той стороне переулку.

Едва он скрылся, как из этих же ворот выбежала босоногая девушка с завязанной платком щекой и спешно направилась в нашу сторону. Ее хитрое лицо отражало разочарование, но, добежав до угла и увидев нас, она застыла на месте, раскрыв рот, потом метнула искоса взглядом, прошла лениво вперед и тотчас вернулась.

— Вы ищете Молли? — сказала она таинственно.

— Вы угадали, — ответил Дюрок, и я тотчас сообразил, что нам подвернулся шанс.

— Я не угадала, я слышала, — сказала эта скуластая барышня (уже я был готов взречь от тоски, что она скажет: «Это — я, к вашим услугам»), двигая перед собой руками, как будто ловила паутину. — Так вот что я вам скажу: ее здесь действительно нет, а она теперь в бордингаузе, у своей сестры. Идите, — девица махнула рукой, — туда по берегу. Всего вам одну милю пройти. Вы увидите синюю крышу и флаг на мачте. Варрен только что убежал и уж наверно готовит пакость, поэтому торопитесь.

— Благодарю, добрая душа, — сказал Дюрок. — Еще, значит, не все против нас.

— Я не против, — возразила особа, — а даже наоборот. Они девушкой вертят, как хотят; очень жаль девочку, потому что, если не вступиться, ее слопают.

— Слопают? — спросил Дюрок.

— А вы не знаете Лемарена? — Вопрос прозвучал громовым упреком.

— Нет, не знаем.

— Ну, тогда долго рассказывать. Она сама расскажет. Я уйду: если меня увидят с вами...

Девушка всколыхнулась и исчезла за углом, а мы, немедленно следуя ее указанию, и так скоро, как только позволяло дыхание, кинулись на ближайший спуск к берегу, где, как увидели, нам предстоит обогнуть небольшой мыс в правой стороне от Сигнального Пустыря.

Могли бы мы, конечно, расспросив о дороге, направиться ближайшим путем, по твердой земле, а не по скользкому гравию, но, как правильно указал Дюрок, в данном положении было невыгодно, чтобы нас видели на дорогах.

Справа, по обрыву, стоял лес, слева блестело утреннее красивое море, а ветер дул, на счастье, в затылок. Я был рад, что иду берегом. На гравии бежали, шумя, полосы зеленой воды, отливаясь затем назад шепчущей о тишине пеной. Обогнув мыс, мы увидели вдаль, на изгибе лиловых холмов берега, синюю крышу с узким лычком флага, и только тут я вспомнил, что Эстамп ждет известий. То же самое, должно быть, думал Дюрок, так как сказал:

— Эстамп потерпит: то, что впереди нас, — важнее его. — Однако, как вы увидите впоследствии, с Эстампом вышло иначе.

IX

За мысом ветер стих, и я услышал слабо долетающую игру на рояле, — беглый мотив. Он был ясен и незатейлив, как полевой ветер. Дюрок внезапно остановился, затем пошел тише, с закрытыми глазами, опустив голову. Я подумал, что у него сделались в глазах темные круги от слепого блеска белой гальки: он медленно улыбнулся, не открывая глаз, потом остановился вторично с немного приподнятой рукой. Я не знал, что он думает. Его глаза внезапно открылись, он увидел меня, но продолжал смотреть очень рассеянно, как

бы издалека; наконец, заметив, что я удивлен, Дюрок повернулся и, ничего не сказав, направился далее.

Обливаясь потом, достигли мы тени здания. Со стороны моря фасад был обведен двухэтажной террасой с парусиновыми навесами; узкая пустая стена с слуховым окном была обращена к нам, а входы были, надо полагать, со стороны леса. Теперь нам предстояло узнать, что это за бордингауз и кто там живет.

Музыкант кончил играть свой короткий мотив и начал переливать звуки от заостренной трели к глухому бормотанию басом, — потом обратно, все очень быстро. Наконец он несколько раз кряду крепко ударил в прелестную тишину морского утра однотонным аккордом и как бы исчез.

— Замечательное дело! — послышался с верхней террасы хриплый, обеспокоенный голос. — Я оставил водки в бутылке выше ярлыка на палец, а теперь она ниже ярлыка. Это вы выпили, Билль?

— Стану я пить чужую водку, — мрачно и благородно ответил Билль. — Я только подумал, не укусу ли это, так как страдаю мигренью, и смочил немного платок.

— Лучше бы вы не страдали мигренью, а научились... — Затем, так как мы уже поднялись по тропинке к задней стороне дома, спор слышался неясным единоборством голосов, а перед нами открылся вход с лестницей. Ближе к углу была вторая дверь.

Среди редких, очень высоких и тенистых деревьев, росших здесь вокруг дома, переходя далее в густой лес, мы не были сразу замечены единственным человеком, которого тут увидели. Это была девушка или девочка? — я не мог бы сказать сразу, но склонялся к тому, что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом, как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная

бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых, кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

— Здравствуйте, — сказал Дюрок, подходя к ней. — Мне указали, что здесь живет Молли Варрен.

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько побледнев, оторопело приподняла руку. По ее очень выразительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло несколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

— Молли Варрен! — сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела. — Пожалуйста, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, шелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул; звон, какой слышен при битье посуды, яростное «черт побери эти крючки», и, после некоторого резкого громыхания, внезапно вошла очень стройная девушка, с встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой, нетерпеливыми, ясными, черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

— Молли — это я, — сказала она недоверчиво, но не удержимо улыбаясь, — скажите все сразу, потому что я очень волнуясь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят.

Я смутился, так как в таком виде она мне очень понравилась.

— Так вы догадались, — сказал Дюрок, садясь, как сели мы все. — Я — Джон Дюрок, могу считать себя действительным другом человека, которого назовем сразу: Ганувер. Со мной мальчик... то есть просто один хороший Санди, которому я доверяю.

Она молчала, смотря прямо в глаза Дюрока и беспокойно двигаясь. Ее лицо дергалось. Полождав, Дюрок продолжал:

— Ваш роман, Молли, должен иметь хороший конец. Но происходят тяжелые и непонятные вещи. Я знаю о золотой цепи...

— Лучше бы ее не было! — вскричала Молли. — Вот уж, именно, тяжесть; я уверена, что от нее — все!

— Санди, — сказал Дюрок, — сходи взглянуть, не плывет ли лодка Эстампа.

Я встал, задев ногой стул, с тяжелым сердцем, так как слова Дюрока намекали очень ясно, что я мешаю. Выходя, я столкнулся с молодой женщиной встревоженного вида, которая, едва взглянув на меня, уставилась на Дюрока. Уходя, я слышал, как Молли сказала: «Моя сестра Арколь».

Итак, я вышел на середине недопетой песни, начинавшей действовать обаятельно, как все, связанное с тоской и любовью, да еще в лице такой прелестной стрелы, как та девушка, Молли. Мне стало жалко себя, лишенного участия в этой истории, где я был у всех под рукой, как перочинный ножик, — его сложили и спрятали. И я, имея оправдание, что не преследовал никаких дурных целей, степенно обошел дом, увидел со стороны моря раскрытое окно, признал узор занавески и сел под ним, спиной к стене, слыша почти все, что говорилось в комнате.

Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознагражден тем, что услышал дальше. Говорила очень нервно и горячо Молли:

— Да как он приехал? Но что за свидания?! Всего-то и виделись мы семь раз, фу-у-у! Надо было привезти меня немедленно к себе. Что за отсрочки?! Из-за этого меня проследили и окончательно все стало известно. Знаете, эти мысли, то есть критика, приходят, когда задумаешься обо всем. Теперь еще у него живет красавица, — ну, и пусть живет, и не смей меня звать!

Дюрок засмеялся, но невесело.

— Он сильно пьет, Молли, — сказал Дюрок, — и пьет потому, что получил ваше окончательное письмо. Должно быть, оно не оставляло ему надежды. Красавица, о которой вы говорите, — гостья. Она, как мы думаем, просто скучающая молодая женщина. Она приехала из Индии с братом и приятелем брата: один — журналист, другой, кажется, археолог. Вы знаете, что представляет дворец Ганувера. О нем пошел далеко слух, и эти люди явились взглянуть на чудо архитектуры. Но он оставил их жить, так как не может быть один — совсем один. Молли, сегодня... в двенадцать часов... вы дали слово три месяца назад.

— Да, и я его забрала обратно.

— Слушайте, — сказала Арколь, — я сама часто не знаю, чему верить. Наши братцы работают ради этого подлеца Лемарена. Вообще мы в семье распались. Я жила долго в Риоле, где у меня было другое общество, да, получше компании Лемарена. Что же, служила, и все такое, была еще помощницей садовника. Я ушла, навсегда ушла душой от Пустыря. Этого не вернешь. А Молли — Молли. Бог тебя знает, Молли, как ты выросла на дороге и не затоптали тебя! Ну, я поберегла, как могла, девочку. Братцы работают, — два брата; который хуже, трудно сказать. Уж, наверно, не одно письмо было скрадено. И они вбили девушке в голову, что Гану-

вер с ней... не так чтобы очень хорошо. Что у него есть возлюбленная, что его видели там и там в подозрительных местах. Надо знать мрачность, в которую она впадает, когда слышит такие вещи!

— Лемарен? — сказал Дюрок. — Молли, кто такой Лемарен?

— Негодяй! Я ненавижу его!

— Верьте мне, хоть стыдно в этом признаться, — продолжала Арколь, — что у Лемарена общие дела с нашими братьями. Лемарен — хулиган, гроза Пустыря. Ему приглянулась моя сестра, и он с ума сойдет, больше от самолюбия и жадности. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Все сложилось скверно, как нельзя хуже. Вот наша семья: отец в тюрьме за хорошие дела, один брат тоже в тюрьме, а другой ждет, когда его посадят. Ганувер четыре года назад оставил деньги, — я знала только, кроме нее, у кого они; это ведь ее доля, которую она согласилась взять, — но, чтобы хоть как-нибудь пользоваться ими, приходилось все время выдумывать предлоги — поездки в Риоль, — то к тетке, то к моим подругам и так далее. На глазах нельзя было нам обнаружить ничего: заколотят и отберут. Теперь Ганувер приехал и его видели с Молли, стали за ней следить, перехватили письмо. Она вспыльчива. На одно слово, что ей было сказано тогда, она ответила, как это она умеет: «Люблю, да, и подите к черту!» Вот тут перед ними и мелькнула нажива. Брат сдуру открыл мне свои намерения, надеясь меня привлечь: отдать девушку Лемарену, чтобы он запугал ее, подчинил себе, а потом — Гануверу, и тянуть деньги, много денег, как от рабыни. Жена должна была обирать мужа ради любовника. Я все рассказала Молли. Ее согнуть не легко, но добыча была заманчива. Лемарен прямо объявил, что убьет Ганувера, в случае брака. Тут началась грязь — сплетни, и угрозы, и издевательства, и упреки, и я должна была с боем взять Молли к себе, когда полу-

чила место в этом бордингаузе, место смотрительницы. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Одним словом — кумир дур. Приятели его подражают ему в манерах и одежде. Общие дела с братцами. Плохие это дела! Мы даже не знаем точно, какие дела... только если Лемарен сядет в тюрьму, то и семейство наше уменьшится на оставшегося брата. Молли, не плачь! Мне так стыдно, так тяжело говорить вам все это! Дай мне платок. Пустяки, не обращайтесь внимания. Это сейчас пройдет.

— Но это очень грустно. — все, что вы говорите, — сказал Дюрок. — Однако я без вас не вернусь, Молли, потому что за этим я и приехал. Медленно, очень медленно, но верно, Ганувер умирает. Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной жизнью. Заметьте, что не уверенными — уже дрожащими шагами дошел он к сегодняшнему дню, как и назначил, — дню торжества. И он все сделал для вас, как было то в ваших мечтах, на берегу. Все это я знаю и очень всем расстроен, потому что люблю этого человека.

— А я — я не люблю его?! — пылко сказала девушка. — Скажите «Ганувер» и приложите руку мне к сердцу! Там — любовь! Одна любовь! Приложите! Ну — слышите? Там говорит — «да», всегда «да»! Но я говорю «нет»!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилось сердце. Вся история, отдельные черты которой постепенно я узнавал, как бы складывалась на моих глазах из утреннего блеска и ночных тревог, без конца и начала, одной смутной сценой. Впоследствии я узнал женщин и уразумел, что девушка семнадцати лет так же хорошо разбирается в обстоятельствах, поступках людей, как лошадь в арифметике. Теперь же я думал, что если она так сильно противится и огорчена, то, вероятно, права.

Дюрок сказал что-то, чего я не разобрал. Но слова Молли все были ясно слышны, как будто она выбрасывала их в окно и они падали рядом со мной.

— ...вот как все сложилось несчастно. Я его, как он уехал, два года не любила, а только вспоминала очень тепло. Потом я опять начала любить, когда получила письмо, потом много писем. Какие же это были хорошие письма! Затем — подарок, который надо, знаете, хранить так, чтобы не увидели, — такие жемчужины...

Я встал, надеясь заглянуть внутрь и увидеть, что она там показывает, как был поражен неожиданным шествием ко мне Эстампа. Он брел от берегов выступа, разгоряченный, утирая платком пот, и, увидев меня, еще издали покачал головой: внутренне осев, я пошел к нему, не очень довольный, так как потерял, — о, сколько я потерял и волнующих слов и подарков! — прекратилось мое невидимое участие в истории Молли.

— Вы подлецы! — сказал Эстамп. — Вы меня оставили удить рыбу. Где Дюрок?

— Как вы нашли нас? — спросил я.

— Не твое дело. Где Дюрок?

— Он — там! — Я проглотил обиду, так я был обезоружен его гневным лицом. — Там они, трое: он, Молли и ее сестра.

— Веди!

— Послушайте, — возразил я скрепя сердце, — можете вызвать меня на дуэль, если мои слова будут вам обидны, но, знаете, сейчас там самый разговор. Молли плачет, и Дюрок ее уговаривает.

— Так, — сказал он, смотря на меня с проступающей понемногу улыбкой. — Уже подслушал! Ты думаешь, я не вижу, что ямы твоих сапогов идут прямехонько от окна? Эх, Санди; капитан Санди, тебя нужно было прозвать не «Я все знаю», а «Я все слышу»!

Сознавая, что он прав, я мог только покраснеть.

— Не понимаю, как это случилось, — продолжал Эстамп, — что за одни сутки мы так прочно очутились в твоих

лапах?! Ну, ну, я пошутил. Веди, капитан! А что, эта Молли хорошенькая?

— Она... — сказал я. — Сами увидите.

— То-то! Ганувер не дурак.

Я пошел к заветной двери, а Эстамп постучал. Дверь открыла Арколь.

Молли вскочила, поспешно вытирая глаза. Дюрок встал.

— Как? — сказал он. — Вы здесь?

— Это свинство с вашей стороны, — начал Эстамп, кланяясь дамам и лишь мельком взглянув на Молли, но тотчас улыбнулся с ямочками на щеках и стал говорить очень серьезно и любезно, как настоящий человек. Он назвал себя, выразил сожаление, что помешал разговаривать, и объяснил, как нашел нас.

— Те же ликари, — сказал он, — которые пугали вас на берегу, за пару золотых монет весьма охотно продали мне нужные сведения. Естественно, я был обозлен, соскучился и вступил с ними в разговор; здесь, по-видимому, все знают друг друга или кое-что знают, а потому ваш адрес, Молли, был мне сообщен самым толковым образом. Я вас прошу не беспокоиться, — прибавил Эстамп, видя, что девушка вспыхнула, — я сделал это, как тонкий дипломат. Двинулось ли наше дело, Дюрок?

Дюрок был очень взволнован. Молли вся дрожала от возбуждения; ее сестра улыбалась насильно, стараясь искусственно спокойным выражением лица внести тень мира в пылкий перелет слов, затронувших, по-видимому, все самое важное в жизни Молли.

Дюрок сказал:

— Я говорю ей, Эстамп, что, если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть другие судят о наших поступках, как хотят, если есть это вечное оправдание. Ни разница положений, ни состояние не должны стоять на пути и мешать. Надо верить тому, кого лю-

бишь, — сказал он, — нет высшего доказательства любви. Человек часто не замечает, как своими поступками он производит невыгодное для себя впечатление, не желая в то же время сделать ничего дурного. Что касается вас, Молли, то вы находитесь под вредным и сильным внушением людей, которым не поверили бы ни в чем другом. Они сумели повернуть так, что простое дело соединения вашего с Ганувером стало делом сложным, мутным, обильным неприятными последствиями. Разве Лемарен не говорил, что убьет его? Вы сами это сказали. Находясь в кругу мрачных впечатлений, вы приняли кошмар за действительность. Много помогло здесь и то, что все пошло от золотой цепи. Вы увидели в этом начало рока и боитесь конца, рисующегося вам, в подавленном состоянии вашем, как ужасная неизвестность. На вашу любовь легла грязная рука, и вы боитесь, что эта грязь окрасит собой все. Вы очень молоды, Молли, а человеку молодому, как вы, довольно иногда созданного им самим призрака, чтобы решить дело в любую сторону, а затем — легче умереть, чем признаться в ошибке.

Девушка начала слушать его с бледным лицом, затем покраснелась и просидела так, вся красная, до конца.

— Не знаю, за что он любит меня, — сказала она. — О, говорите, говорите еще! Вы так хорошо говорите! Меня надо помять, умягчить, тогда все пройдет. Я уже не боюсь! Я верю вам! Но говорите, пожалуйста!

Тогда Дюрок стал передавать силу своей души этой запуганной, стремительной, самолюбивой и угнетенной девушке.

Я слушал и каждое его слово запоминал навсегда, но не буду приводить всего, иначе, на склоне лет, опять ярко припомню этот час, и, наверно, разыграется мигрень.

— Если даже вы принесете ему несчастье, как уверены в том, — не бойтесь ничего, даже несчастья, потому что это будет общее ваше горе, и это горе — любовь.

— Он прав, Молли, — сказал Эстамп. — тысячу раз прав. Дюрок, золотое сердце!

— Молли, не упрямясь больше, — сказала Арколь, — тебя ждет счастье!

Молли как бы очнулась. В ее глазах заиграл свет; она встала, потерла лоб, заплакала, пальцами прикрывая лицо, но скоро махнула рукой и стала смеяться.

— Вот мне и легче, — сказала она, сморкаясь. — О, что это?! Ф-фу-у-у, точно солнце взошло! Что же это было за наваждение? Мрак какой! Я и не понимаю теперь. Едем скорей! Арколь, ты меня пойми! Я ничего не понимала, и вдруг ясно зрение.

— Хорошо, хорошо, не волнуйся, — ответила сестра. — Ты будешь собираться?

— Немедленно соберусь! — Она осмотрелась, бросилась к сундуку и стала вынимать из него куски разных материй, кружева, чулки и завязанные пакеты: не прошло и минуты, как вокруг нее валялась груда вещей. — Еще и не сшила ничего! — сказала она горестно. — В чем я поеду?

Эстамп стал уверять, что ее платье ей к лицу и что так хорошо. Не очень довольная, она хмуро прошла мимо нас, что-то ища, но, когда ей поднесли зеркало, развеселилась и примирилась. В это время Арколь спокойно свертывала и укладывала все, что было разбросано. Молли, задумчиво посмотрев на нее, сама подобрала вещи и обняла молча сестру.

Х

— Я знаю... — сказал голос за окном; шаги нескольких людей, удаляясь, огибали угол.

— Только бы не они, — сказала, вдруг побледнев и бросаясь к дверям, Арколь. Молли, закусив губы, смотрела на нее и на нас. Взгляд Эстампа Дюроку вызвал ответ послед-

него: «Это ничего, нас трое». Едва он сказал, по двери ударили кулаком; я, бывший к ней ближе других, открыл и увидел молодого человека небольшого роста в шегольском летнем костюме. Он был коренаст, с бледным, плоским, даже гошим лицом, но выражение нелепого превосходства в тонких губах под черными усиками и в резких черных глазах было необыкновенно крикливым. За ним шли Варрен и третий человек — толстый, в грязной блузе, с шарфом вокруг шеи. Он шумно дышал, смотрел, выпучив глаза, и, войдя, сунул руки в карманы брюк, став как столб.

Все мы продолжали сидеть, кроме Арколь, которая подошла к Молли. Став рядом с ней, она бросила Дюроку отчаянный, умоляющий взгляд.

Новоприбывшие были заметно навеселе. Ни одним взглядом, ни движением лица не обнаружили они, что, кроме женщин, есть еще мы, даже не посмотрели на нас, как будто нас здесь совсем не было. Разумеется, это было сделано умышленно.

— Вам нужно что-нибудь, Лемарен? — сказала Арколь, стараясь улыбнуться. — Сегодня мы очень заняты. Нам надо пересчитать белье, сдать его, а потом ехать за провизией для матросов. — Затем она обратилась к брату, и это было одно слово: — Джон!

— Я с вами поговорю, — сказал Варрен. — Что же, нам и сесть негде?!

Лемарен, подбоченясь, взмахнул соломенной шляпой. Его глаза с острой улыбкой были обращены к девушке.

— Привет, Молли! — сказал он. — Прекрасная Молли, сделайте милость, обратите внимание на то, что я пришел навестить вас в вашем уединении. Взгляните, — это я!

Я видел, что Дюрок сидит, опустив голову, как бы безучастно, но его колено дрожало, и он почти незаметно удерживал его ладонью руки. Эстамп приподнял брови, отошел и смотрел сверху вниз на бледное лицо Лемарена.

— Убирайся! — сказала Молли. — Ты довольно преследовал меня! Я — не из тех, к кому ты можешь протянуть лапу. Говорю тебе прямо и начистоту — я более не стерплю! Уходи!

Из ее черных глаз разлетелась по комнате сила отчаянного сопротивления. Все это почувствовали. Почувствовал это и Лемарен, так как широко раскрыл глаза, смигнул и, нескладно улыбаясь, повернулся к Варрену.

— Каково? — сказал он. — Ваша сестра сказала мне дерзость, Варрен. Я не привык к такому обращению, клянусь костылями всех калек этого дома! Вы пригласили меня в гости, и я пришел. Я пришел вежливо, — не с худой целью. В чем тут дело, я спрашиваю?

— Дело ясное, — сказал, глухо крикнув, толстый человек, ворочая кулаки в карманах брюк. — Нас выставляют.

— Кто вы такой? — рассердилась Арколь. По наступательному выражению ее кроткого даже в гневе лица я видел, что и эта женщина дошла до предела. — Я не знаю вас и не приглашала. Это мое помещение, я здесь хозяйка. Потрудитесь уйти!

Дюрок поднял голову и взглянул Эстампу в глаза. Смысл взгляда был ясен. Я поспешил захватить плотнее револьвер, лежавший в моем кармане.

— Добрые люди, — сказал, посмеиваясь, Эстамп, — вам лучше бы удалиться, так как разговор в этом тоне не доставляет решительно никому удовольствия.

— Слышу птицу! — воскликнул Лемарен, мельком взглядывая на Эстампа и тотчас обращаясь к Молли. — Это вы заводите чижиков, Молли? А есть у вас канаресчное семя, а? Ответьте, пожалуйста!

— Не спросить ли моего утреннего гостя, — сказал Варрен, выступая вперед и становясь против Дюрока, неохотно вставшего навстречу ему. — Может быть, этот господин сообразовит объяснить, — почему он здесь, у моей, черт побери, сестры?!

— Нет, я не сестра твоя! — сказала, словно бросила тяжкий камень, Молли. — А ты не брат мне! Ты — второй Лемарен, то есть подлец!

И, сказав так, вне себя, в слезах, с открытым страшным лицом, она взяла со стола книгу и швырнула ее в Варрена.

Книга, порхнув страницами, ударила его по нижней губе, так как он не успел прикрыться локтем. Все ахнули. Я весь горел, чувствуя, что отлично сделано, и готов был палить во всех.

— Ответит этот господин. — сказал Варрен, указывая пальцем на Дюрока и растирая другой рукой подбородок, после того, как вдруг наступившее молчание стало невыносимо.

— Он переломает тебе все кости! — вскричал я. — А я пробью твою мишень, как только...

— Как только я уйду, — сказал вдруг сзади низкий, мрачный голос, столь громкий, несмотря на рокочущий тембр, что все сразу оглянулись.

Против двери, твердо и широко распахнув ее, стоял человек с седыми баками и седой копной волос, разлетевшихся, как сено на вилах. Он был без руки, — один рукав матросской куртки висел; другой, засученный до локтя, обнажал коричневую пружину мускулов, оканчивающихся мощной пятерней с толстыми пальцами. В этой послужившей на своем веку мускульной машине человек держал пустую папиросную коробку. Его глаза, глубоко запрятанные среди бровей, складок и морщин, педили тот старческий блестящий взгляд, в котором угадываются и отличная память и тонкий слух.

— Если сцена, — сказал он, входя, — то надо закрывать дверь. Кое-что я слышал. Мамаша Арколь, будьте добры дать немного толченого перца для рагу. Рагу должно быть с перцем. Будь у меня две руки, — продолжал он в том же спокойном деловом темпе, — я не посмотрел бы на тебя, Лемарен, и вбил бы тебе этот перец в рот. Разве так обращаются с девушкой?

Едва он проговорил это, как толстый человек сделал движение, в котором я ошибиться не мог: он вытянул руку ладонью вниз и стал отводить ее назад, намереваясь ударить Эстампа. Быстрее его я протянул револьвер к глазам негодея и нажал спуск, но выстрел, толкнув руку, увел пулю мимо цели.

Толстяка отбросило назад, он стукнулся об этажерку и едва не свалил ее. Все вздрогнули, разбежались и оцепенели; мое сердце колотилось, как гром. Дюрок с наименьшей быстротой направил дуло в сторону Лемарена, а Эстамп прицелился в Варрена.

Мне не забыть безумного испуга в лице толстого хулигана, когда я выстрелил. Тут я понял, что игра временно остается за нами.

— Нечего делать, — сказал, бессильно поводя плечами, Лемарен. — Мы еще не приготовились. Ну, берегитесь! Ваша взяла! Только помните, что подняли руку на Лемарена. Идем, Босс! Идем, Варрен! Встретимся еще как-нибудь с ними, отлично увидимся. Прекрасной Молли привет! Ах, Молли, красotka Молли!

Он проговорил это медленно, холодно, вертя в руках шляпу и взглядывая то на нее, то на всех нас по очереди. Варрен и Босс молча смотрели на него.

Он мигнул им: они вылезли из комнаты один за другим, останавливаясь на пороге; оглядываясь, они выразительно смотрели на Дюрока и Эстампа, прежде чем скрыться. Последним выходил Варрен. Останавливаясь, он поглядел и сказал:

— Ну, смотри. Арколь! И ты, Молли!

Он прикрыл дверь. В коридоре шептались, затем, быстро прозвучав, шаги утихли за домом.

— Вот, — сказала Молли, бурно дыша. — И все, и ничего более. Теперь надо уходить. Я уйду, Арколь. Хорошо, что у вас пули.

— Правильно, правильно и правильно! — сказал инвалид. — Такое поведение я одобряю. Когда был бунт на «Аль-

цесте», я открыл такую паяльбу, что все легли брюхом вниз. Теперь что же? Да, я хотел перцу для...

— Не вздумайте выходить. — быстро заговорила Арколь. — Они караулят. Я не знаю, как теперь поступить.

— Не забудьте, что у меня есть лодка, — сказал Эстамп, — она очень недалеко. Ее не видно отсюда, и я поэтому за нее спокоен. Будь мы без Молли...

— Она? — сказал инвалид Арколь, устремляя указательный палец в грудь девушке.

— Да, да, надо уехать.

— Ее? — повторил матрос.

— О, какой вы непонятливый, а еще...

— Туда? — Инвалид махнул рукой за окно.

— Да, я должна уехать, — сказала Молли, — вот придумайте, ну скорее, о Боже мой!

— Такая же история была на «Гренаде» с юнгой, да, вспомнил. Его звали Санди. И он...

— Я — Санди, — сказал я, сам не зная зачем.

— Ах, и ты тоже Санди? Ну, милочка, какой же ты хороший, ревунок мой! Послужи, послужи девушке! Ступайте с ней. Ступай, Молли. Он твоего роста. Ты дашь ему юбку и — ну, скажем, — платянишко, чтобы закутать то место, где лет через десять вырастет борода. Юбку дашь приметную, такую, в какой тебя видали и помнят. Поняла? Ступай, скройся и переряди человека, который сам сказал, что его зовут Санди. Ему будет дверь — тебе окно. Все!

XI

— В самом деле, — сказал, помолчав, Дюрок. — это, пожалуй, лучше всего.

— Ах, ах! — воскликнула Молли, смотря на меня со смехом и жалостью. — Как же он теперь? Нельзя ли иначе? —

Но полное одобрение слышалось в ее голосе, несмотря на притворные колебания.

— Ну, что же, Санди? — Дюрок положил мне на плечо руку. — Решай! Нет ничего позорного в том, чтобы подчиниться обстоятельствам — нашим обстоятельствам. Теперь все зависит от тебя.

Я воображал, что иду на смерть, пасть жертвой за Ганувера и Молли, но умереть в юбке казалось мне ужасным концом. Хуже всего было то, что я не мог отказаться; меня ждал в случае отказа моральный конец, горший смерти. Я подчинился с мужеством растоптанного стыда и смирился перед лицом рока, смотревшего на меня нежными черными глазами Молли. Тотчас произошло заклятие. Худо понимая, что делается кругом, я вошел в комнату рядом и, слыша как стучит мое опозоренное сердце, стал, подобно манекену, неподвижно и глупо. Руки отказались бороться с завязками и пуговицами. Чрезвычайная быстрота четырех женских рук усыпила и ошеломила меня. Я чувствовал, что смирен и велик, что я — герой и избавитель, кукла и жертва. Маленькие руки поднесли мне зеркало; на голове очутился платок, и так как я не знал, что с ним делать, Молли взяла мои руки и забрала их вместе с платком под подбородком, тряся, чтобы я понял, как прикрывать лицо. Я увидел в зеркале искаженное расстройством подобие себя и не признал его. Наконец тихий голос сказал: «Спасибо тебе, душечка!» — и крепкий поцелуй в щеку вместе с легким дыханием дал понять, что этим Молли вознаграждает Санди за отсутствие у него усов.

После того все пошло как по маслу. Меня быстро вытолкнули к обществу мужчин, от которого я временно отказался. Наступило глубокое унижительное молчание. Я не смел поднять глаза и направился к двери, слегка путаясь в юбке; я так и ушел бы, но Эстамп окликнул меня:

— Не торопись, я пойду с тобой! — Нагнав меня у самого выхода, он сказал: — Иди быстрым шагом по той тропин-

ке, так скоро, как можешь, будто торопишься изо всех сил; держи лицо прикрытым и не оглядывайся; выйдя на дорогу, поверни вправо, к Сигнальному Пустырю. А я пойду сзади.

Надо думать, что приманка была хороша, так как едва прошел я две-три лужайки среди светлого леса, невольно входя в роль и прижимая локти, как делают женщины, когда спешат, как в стороне послышались торопливые голоса.

Шаги Эстампа я слышал все время позади близко от себя. Он сказал: «Ну, теперь беги, беги во весь дух!» Я полетел вниз с холма, ничего не слыша, что сзади, но когда спустился к новому подъему, раздались крики: «Молли! Стой, или будет худо!» — это кричал Варрен. Другой крик, Эстампа, тоже приказывал стоять, хотя я и не был назван по имени. Решив, что дело сделано, я остановился, повернувшись лицом к действию.

На разном расстоянии друг от друга по дороге двигались три человека; ближайший ко мне был Эстамп, он отступал вполуборот к неприятелю. К нему бежал Варрен, за Варреном, отстав от него, спешил Босс. «Стойте!» — сказал Эстамп, целясь в последнего. Но Варрен продолжал двигаться, хотя и тише. Эстамп дал выстрел. Варрен остановился, нагнулся и ухватился за ногу.

— Вот как пошло дело! — сказал он, в замешательстве оглядываясь на подбегающего Босса.

— Хватай ее! — крикнул Босс. В тот же момент обе мои руки были крепко схвачены сзади, выше локтя, и с силой отведены к спине так, что, рванувшись, я ничего не выиграл, а только повернул лицо назад, взглянуть на вспившегося в меня Лемарена. Он обошел лесом и пересек путь. При этих движениях платок свалился с меня. Лемарен уже сказал: «Мо...», но, увидев, кто я, был так поражен, так взбешен, что, тотчас отпустив мои руки, замахнулся обоими кулаками.

— Молли, да не та! — вскричал я злорадно, рухнув ниц и со всей силой ударив его головой в самый низ живота, —

прием вдохновения. Он завопил и свалился через меня. Я на бегу разорвал пояс юбки и выскочил из нее, потом, отбежав, стал трясти ею, как трофеем.

— Оставь мальчишку! — закричал Варрен. — А то *она* удерет! Я знаю теперь: она побежала наверх к матросам. Там что-нибудь подготовили. Брось все! Я ранен!

Лемарен не был так глуп, чтобы лезть на человека с револьвером, хотя бы этот человек держал в одной руке только что скинутую юбку: револьвер был у меня в другой руке, и я собирался пустить его в дело, чтобы отразить нападение. Оно не состоялось, вся троица понеслась обратно, грозя кулаками. Варрен хромал сзади. Я еще не опомнился, но уже видел, что отделался дешево. Эстамп подошел ко мне с бледным и серьезным лицом.

— Теперь они постоят у воды, — сказал он, — и будут так же, как нам, грозить кулаками боту. По воде не пойдешь. Дюрок, конечно, успел сесть с девушкой. Какая история! Ну, впишем еще страницу в твои подвиги — и... свернем-ка, на всякий случай, в лес!

Разгоряченный, изрядно усталый, я свернул юбку и платок, намереваясь сунуть их где-нибудь в куст, потому что, как ни блистательно я вел себя, они напоминали мне, что условно, не по-настоящему, на полчаса, — но я был все же женщиной. Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником. Поотстав, я заметил два камня, сошедшихся вверху краями, и сунул меж них ненатуральное одеяние, отчего пришел немедленно в наилучшее расположение духа.

На нашем пути встретился озаренный пригорок. Тут Эстамп лег, вытянул ноги и облокотился, положив на ладонь щеку.

— Садись, — сказал он. — Надо передохнуть. Да, вот это дело!

— Что же теперь будет? — осведомился я, садясь по-турецки и раскуривая с Эстампом его папиросы. — Как бы не произошло нападения!

— Какого нападения?!

— Ну, знаете... У них, должно быть, большая шайка. Если они захотят отбить Молли и соберут человек сто...

— Для этого нужны пушки, — сказал Эстамп, — и еще, пожалуй, бесплатные места полицейским, в качестве зрителей.

Естественно, наши мысли вертелись вокруг горячих утренних происшествий, и мы перебрали все, что было, со всеми подробностями, соображениями, догадками и особо картинными моментами. Наконец мы подошли к нашим впечатлениям от Молли; почему-то этот разговор замялся, но мне все-таки хотелось знать большее, чем то, чему был я свидетелем. Особенно меня волновала мысль о Дигэ. Эта таинственная женщина непременно возникала в моем уме, как только я вспоминал Молли. Об этом я его и спросил.

— Хм... — сказал он. — Дигэ... О, это задача! — И он погрузился в молчание, из которого я не мог извлечь его никаким покашливанием.

— Известно ли тебе, — сказал он наконец, после того как я решил, что он совсем задремал, — известно ли тебе, что эту траву едят собаки, когда заболеют бешенством?

Он показал острый листок, но я был очень удивлен его глубокомысленным тоном и ничего не сказал. Затем, в молчании, усталые от жары и друг от друга, мы выбрались к морской полосе, пришли на пристань и наняли лодочника. Никто из наших врагов не караулил нас здесь, поэтому мы благополучно переехали залив и высадились в стороне от дома. Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад. Мы шли садом. Аллеи были пусты. Эстамп провел меня в дом через одну из боковых арок, затем по чрезвычайно путаной, сурового вида, лестнице в большую комнату с цветными стеклами.

Он был заметно не в духе, и я понял отчего, когда он сказал про себя: «Дьявольски хочу есть». Затем он позвонил, приказал слуге, чтобы тот отвел меня к Попу, и, еле передвигая ноги, я отправился через блестящие недра безлюдных стен в

настоящее путешествие к библиотеке. Здесь слуга бросил меня. Я постучал и увидел Попа, беседующего с Дюроком.

XII

Когда я вошел, Дюрок доканчивал свою речь. Не помню, что он сказал при мне. Затем он встал и, в ответ многочисленным молчаливым кивкам Попа, протянул ему руку. Рукопожатие сопровождалось твердыми улыбками с той и другой стороны.

— Как водится, герою уступают место и общество, — сказал мне Дюрок, — теперь, Санди, посвети Попа во все драматические моменты. Вы можете ему довериться, — обратился он к Попу, — этот ма... человек — суший клад в таких положениях. Прощайте! Меня ждут.

Мне очень хотелось спросить, где Молли и давно ли Дюрок вернулся, так как хотя из этого ничего не вытекало, но я от природы любопытен во всем. Однако, на что я решился бы под открытым небом, на то не решался здесь, по стеснительному чувству чужого среди высоких потолков и прекрасных вещей, имеющих свойство оттеснять непривычного в его духовную раковину.

Все же я надеялся много узнать от Попа.

— Вы устали и, наверное, голодны? — сказал Поп. — В таком случае пригласите меня к себе и мы с вами позавтракаем. Уже второй час.

— Да, я приглашаю вас, — сказал я, малость недоумевая, чем могу угостить его, и не зная, как взяться за это, но не желая уступить никому ни в тоне, ни в решительности. — В самом деле, идем, стрессаем, что дадут.

— Прекрасно, *стрессаем*, — подхватил он с непередаваемой интонацией редкого иностранного слова. — но вы не забыли, где ваша комната?

Я помнил и провел его в коридор, второй дверью налево. Здесь, к моему восхищению, повторилось то же, что у Дюрока: потянув шнур, висевший у стены, сбоку стола, мы увидели, как откинулась в простенке меж окон металлическая доска и с отверстием поравнялась никелевая плоскость, на которой были вино, посуда и завтрак. Он состоял из мясных блюд, фруктов и кофе. Для храбрости я выпил полный стакан вина и, отделившись таким образом от стеснения, стал есть, будучи почти пьян.

Поп ел мало и медленно, но вина выпил.

— Сегодняшний день, — сказал он, — полон событий, хотя все главное еще впереди. Итак, вы сказали, что произошла схватка?

Я этого не говорил и сказал, что не говорил.

— Ну, так скажите, — произнес он с милой улыбкой. — Жестоко держать меня в таком нетерпении.

Теперь происшедшее казалось мне не довольно поразительным, и я взял самый высокий тон.

— При высадке на берегу дело пошло на ножи, — сказал я и развил этот самостоятельный текст в виде прыжков, беганья и рычания, но никого не убил. Потом я сказал: — Когда явился Варрен и его друзья, я дал три выстрела, ранив одного негодя... — Этот путь оказался заманчивым; чувствуя, должно быть от вина, что я и Поп как будто описываем вокруг комнаты нарез, я хватил самое яркое из утренней эпопеи:

— Давайте, Молли, — сказал я, — устроим так, чтобы я надел ваше платье и обманул врагов, а вы за это меня поцелуете. И вот...

— Санди, не пейте больше вина, прошу вас, — мягко перебил Поп. — Вы мне расскажете потом, как все это у вас там произошло, тем более, что Дюрок, в общем, уж рассказал.

Я встал, засунул руки в карманы и стал смеяться. Меня заливало блаженством. Я чувствовал себя Дюроком и Ганувером. Я вытащил револьвер и попытался прицелиться в

шарик кровати. Поп взял меня за руку и усадил, сказав: «Выпейте кофе, а еще лучше закурите».

Я почувствовал во рту папиросу, а перед носом увидел чашку и стал жадно пить черный кофе. После четырех чашек винтообразный нарез вокруг комнаты перестал увлекать меня, в голове стало мутно и глупо.

— Вам лучше, надеюсь?

— Очень хорошо, — сказал я, — и чем скорее вы приступите к делу, тем будет лучше.

— Нет, выпейте, пожалуйста, еще одну чашку.

Я послушался его и наконец стал чувствовать себя прочно сидящим на стуле.

— Слушайте, Санди, и слушайте внимательно. Надеюсь, вам теперь хорошо?

Я был страшно возбужден, но разум и понимание вернулись.

— Мне лучше, — сказал я обычным своим тоном, — мне почти хорошо.

— Раз почти, — следовательно, контроль на месте, — заметил Поп. — Я ужаснулся, когда вы палили себе целую купель этого вина, но ничего не сказал, так как не видел еще вас в единоборстве с напитками. Знаете, сколько этому вину лет? Сорок восемь, а вы обошлись с ним, как с водой. Ну, Санди, я теперь буду вам открывать секреты.

— Говорите как самому себе!

— Я не ожидал от вас другого ответа. Скажите мне... — Поп откинулся к спинке стула и пристально взглянул на меня. — Да, скажите вот что: умеете вы лазить по дереву?

— Штука не хитрая, — ответил я, думая, — и лазить по нему, и срубить дерево, как хотите. Я могу даже спуститься по дереву головой вниз. А вы?

— О нет, — застенчиво улыбнулся Поп, — я, к сожалению, довольно слаб физически. Нет, я могу вам только завидовать.

Уже я дал многие доказательства моей преданности, и было бы неудобно держать от меня в тайне общее положение дела, раз требовалось уметь лазить по дереву.

По этим соображениям Поп — как я полагаю — рассказал многие обстоятельства. Итак, я узнал, что позавчера утром разосланы телеграммы и письма с приглашениями на сегодняшнее торжество и соберется большое общество.

— Вы можете, конечно, догадаться о причинах, — сказал Поп, — если примете во внимание, что Ганувер всегда верен своему слову. Все было устроено ради Молли; он думает, что ее не будет, однако не считает себя вправе признать это, пока не пробил двенадцать часов ночи. Итак, вы догадываетесь, что приготовлен сюрприз?

— О да, — ответил я, — я догадываюсь. Скажите, пожалуйста, где теперь эта девушка?

Он сделал вид, что не слышал вопроса, и я дал себе клятву не спрашивать об этом предмете, если он так явно вызывает молчание. Затем Поп перешел к подозрениям относительно Томсона и Галуэя.

— Я наблюдаю их две недели, — сказал Поп, — и надо вам сказать, что я имею аналитический склад ума, благодаря чему установил стиль этих людей. Но я допускал ошибку. Поэтому, экстренно вызвав телеграммой Дюрока и Эстампа, я все-таки был не совсем уверен в точности своих подозрений. Теперь дело ясно. Все велось и ведется тайно. Сегодня, когда вы отправлялись в экспедицию, я проходил мимо аквариума, который вы еще не видели, и застал там наших гостей, всех троих. Дверь в стеклянный коридор была полуоткрыта, и в этой части здания вообще почти никогда никто не бывает, так что я появился незамеченным. Томсон сидел на диванчике, покачивая ногой, Дигэ и Галуэй стояли у одной из витрин. Их руки были опущены и сплетены пальцами. Я отступил. Тогда Галуэй нагнулся и поцеловал Дигэ в шею.

— Ага! — вскричал я. — Теперь я все понимаю. Значит, он ей не брат?!

— Вы видите, — продолжал Поп, и его рука, лежавшая на столе, стала нервно дрожать. Моя рука тоже лежала на

столе и так же задрожала, как рука Попа. Он нагнулся и, широко раскрыв глаза, произнес: — Вы понимаете? Клянусь, что Галуэй ее любовник, и мы даже не знаем, чем рисковал Ганувер, понав в такое общество. Вы видели золотую цепь и слышали, что говорилось при этом! Что делать?

— Очень просто, — сказал я, — немедленно донести Гануверу, и пусть он отправит всех их вон в десять минут!

— Вначале я так и думал, но, размыслив о том с Дюрокком, пришел вот к какому заключению: Ганувер мне просто-напросто не поверит, не говоря уже о всей щекотливости такого объяснения.

— Как же он не поверит, если вы это *видели*?

— Теперь я уже не знаю, видел ли я, — сказал Поп, — то есть видел ли *так*, как это было. Ведь это *ужасно* серьезное дело. Но довольно того, что Ганувер может усомниться в моем зрении. А тогда что? Или, я представляю, что я сам смотрю на Дигго глазами и расстроенной душой Ганувера, — что же вы думаете, я окончательно и вдруг поверю истории с поцелуем?

— Это правда, — сказал я, сообразив все его доводы. — Ну хорошо, я слушаю вас.

Поп продолжал:

— Итак, надо увериться. Если подозрение подтвердится — а я думаю, что эти три человека принадлежат к высшему разряду темного мира, — то наш план — такой план есть — развернется ровно в двенадцать часов ночи. Если же далее не окажется ничего подозрительного, план будет другой.

— Я вам помогу, в таком случае, — сказал я, — я ваш. Но вы, кажется, говорили что-то о дереве.

— Вот и дерево, вот мы и пришли к нему. Только это надо сделать, когда стемнеет.

Он сказал, что с одной стороны фасада растет очень высокий дуб, вершина которого поднимается выше третьего этажа. В третьем этаже, против дуба, расположены окна ком-

нат, занимаемых Галуэем, слева и справа от него, в том же этаже, помещаются Томсон и Дигэ. Итак, мы уговорились с Попом, что я влезу на это дерево после восьми, когда все разойдутся готовиться к торжеству, и употреблю в дело таланты, так блестяше примененные мной под окном Молли.

После этого Поп рассказал о появлении Дигэ в доме. Выйдя в приемную на доклад о прибывшей издалека даме, желающей немедленно его видеть, Ганувер явился, ожидая услышать скрипучий голос благотворительницы лет сорока, с сильными жестами и блистающим, как ланцет, лорнетом, а вместо того встретил искусительницу Дигэ. Сквозь ее застенчивость светилось желание отстоять причуду всем пылом двадцати двух лет, сильнейшим, чем рассчитанное кокетство, смесь трусости и задора, вызова и готовности расплакаться. Она объяснила, что слухи о замечательном доме проникли в Бенарес и не дали ей спать. Она и не будет спать, пока не увидит всего. Жизнь потеряла для нее цену с того дня, когда она узнала, что есть дом с исчезающими стенами и другими головоломными тайнами. Она богата и объездила земной шар, но такого пирожного еще не пробовала.

Дигэ сопровождал брат, Галуэй, лицо которого во время этой тирады выражало просьбу не осудить молодую жизнь, требующую повиновения каждому своему капризу. Закоренелый циник улыбнулся бы, рассматривая пленительное лицо, со сказкой в глазах, сияющих всем и всюду. Само собой, она была теперь средневековой принцессой, падающей от изнеможения у ворот волшебного замка. За месяц перед этим Ганувер получил решительное письмо Молли, в котором она сообщала, что уезжает навсегда, не дав адреса, но он временно уже устал горевать — горе, как и счастливое настроение, находит волной. Поэтому все, пахнущее свежей росой, могло найти доступ к левой стороне его груди. Он и Галуэй стали смеяться. «Ровно через двадцать один день, — сказал Ганувер, — ваше желание исполнится, этот срок на-

значен не мной, но я верен ему. В этом вы мне уступите, тем более, что есть на что посмотреть». Он оставил их гостить; так началось. Вскоре явился Томсон, друг Галуэя, которому тоже отвели помещение. Ничто не вызывало особенных размышлений, пока из отдельных слов, взглядов — неумолимой, но подозрительной психической эманации всех трех лиц, — у Попа не создало уверенности, что необходимо экстренно вызвать Дюрока и Эстампа.

Таким образом, в основу сцены приема Ганувером Дигэ был положен характер Ганувера — его вкусы, представления о встречах и случаях; говоря с Дигэ, он слушал себя, выраженного прекрасной игрой.

Запаху таким густым дымом, как в битве Нельсона с испанским флотом, и я сказал страшным голосом:

— Как белка или змея! Поп, позвольте пожать вашу руку и знайте, что Санди, хотя он, может быть, моложе вас, отлично справится с задачей и похитрее!

Казалось, волнениям этого дня не будет конца. Едва я, закрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу, как в дверь постучали и вошедший слуга объявил, что меня требует Ганувер.

— Меня? — струсив, спросил я.

— Санди. Это вы — Санди?

— Он Санди, — сказал Поп, — и я иду с ним.

XIII

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галерее. С ним был Дюрок; он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галереи и яркий свет

больших окон из целых стекол, доходящих до самого парка-та, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел, а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцем по подбородку.

— Здравствуй, Санди, — сказал Ганувер. — Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

— О да! — сказал я. — Все еще не могу опомниться.

— Вот как?! — задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня, прибавил с улыбкой: — Ты позван мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай, если хочешь — не теперь, а строго обдумав, — кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, который, получив ночью телеграмму, отправился утром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капабланки. В противном случае ты привыкнешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слонем в лоб королю.

— Одну из этих партий, — заметил Дюрок, — я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

— Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца, — сказал Ганувер, — ведь так, Санди?

— Простите, — ответил я, — за то, что ничего в этом не понимаю.

— Ну, так говори о своих желаниях!

— Я моряк, — сказал я, — то есть я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получаю сам.

— Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу. Я сидел, тая и улыбаясь.

— Теперь мне уйти? — спросил я.

— Ну нет. Если ты приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лачуге. Тебе, с твоим живым соображением, это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассечен натрое: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн, среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине в полной капитанской форме, орущего красавицам: «Левый галс! Подтянуть грот, рифы и брасы!», а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе перенести Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галереями, Ганувером, Молли и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку:

— Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь, — хотя было «за что», но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

— Женщины догадливы, — сказал Дюрок, — а Дигэ, наверно, проищательна и умна.

— Дигэ... — Ганувер на мгновение закрыл глаза. — Все равно. Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

— Так молода и уже вдова, — сказал Дюрок. — Кто был муж?

— Ее муж был консул в колонии, какой — не помню.

— Брат очень напоминает сестру, — заметил Дюрок, — я говорю о Галузе.

— Напротив, совсем не похож!

Дюрок замолчал.

— Я знаю, он вам не нравится, — сказал Ганувер, — но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая, юмористическая злость напоминает собаку-льва.

— Вот еще! Я не видал таких львов.

— Пуделя, — сказал Ганувер, развеселившись, — стриженного пуделя! Наконец мы соединились! — вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя.

Томсон взглянул сверх очков: величайшая приятность расползалась по его широкому, мускулистому лицу; Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

— Я ожидала застать большое общество, — сказала Дигэ. — Горничная подвела счет и уверяет, что утром прибыло человек двадцать!

— Двадцать семь, — вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно и был своим, а я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

— Благодарю вас, я скажу Микелетте, — холодно отозвалась Дигэ, — что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху. Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с непрязненной остротой.

— Кто же навестил вас? — продолжала Дигэ, спрашивая Ганувера. — Я очень любопытна.

— Это будет смешанное общество, — сказал Ганувер. — Все приглашенные — живые люди.

— Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества, — объяснил Галуэй.

Ганувер улыбнулся.

— Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово *живой*, мне не придумать для человека, умеющего выполнять жизнь.

— В таком случае, мы все живы, — объявила Дигэ, — применяя ваше толкование.

— Но и само по себе, — сказал Томсон.

— Я буду принимать вечером, — заявил Ганувер, — пока же предпочитаю бродить в доме с вами, Дюроком и Санди.

— Вы любите моряков, — сказал Галуэй, косясь на меня, — вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

— Наш Санди один стоит военного флота, — сказал Дюрок.

— Я вижу, он под особым покровительством, и не осмеливаюсь приближаться к нему, — сказала Дигэ, трогая веером подбородок. — Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер, благодаря им вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих, по крайней мере, с улыбкой.

— Я не принадлежу к светскому обществу, — сказал Ганувер добродушно, — я один из случайных людей, которым идиотически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

— Мне попало, — сказала Дигэ, — очередь за вами, Томсон.

— Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

— Мы, журналисты, неуязвимы, — сказал Галуэй, — как короли, и никогда не точим ножи вслух.

— Теперь тронемся, — сказал Ганувер, — пойдем послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

— У вас есть римлянин? — спросил Галуэй. — И тоже *живой*?

— Если не испортился; в прошлый раз начал нести ересь.

— Ничего не понимаю, — Дигэ пожала плечом, — но, должно быть, что-то захватывающее!

Все мы вышли из галереи и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте он удержал меня за руку:

— Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушанья, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав: «Поп!» Юноша поспешил с ключом открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня, но, кажется, и на всех, неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценой, умеющей говорить.

XIV

Это помещение, не очень большое, было обставлено как гостиная, с глухим, мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него.

Галуэй сказал:

— Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит; в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

— *Вот новости*, — раздался резкий, отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул, — *довольно, если вы обвиняете себя в неуместной шутке!*

— Ах! — сказала Дигэ и увела голову в плечи. Все были поражены. Что касается Галуэя, — тот положительно струсил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попытлся назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте! — вполголоса сказала Дигэ. — Дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? — шепнул Галуэй.

— *Останьтесь, я незлобив*, — сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий! — произнес Ганувер. — Позволь рассказать твою историю!

— *Мне все равно*, — ответила кукла, — *я механизм*.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал:

— Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус; я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, ровно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием. «Ты спас меня!» — сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в от-

вет: *«Я тебя убил»*. Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание: *«Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!»*

— Ужасно! — сказал Дюрок. — Ужасно! — повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен. — Ганувер посмотрел на куклу и спросил: — Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающее «да», после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

— *Я, Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой.*

— Вот ответ, достойный живого человека! — заметил Галуэй. — Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю, — сказал Ганувер, — мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радиий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных цифр, — вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить «Ксаверий», иначе он молчит.

— Самолюбив, — сказал Томсон.

— И самодоволен, — прибавил Галуэй.

— И самовлюблен, — определила Дигэ. — Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

— Хорошо. Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно! — расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

— Разве я прорицатель? Все вы умрете: а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно! — вскричала Дигэ. — Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростибельное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: «Сердись на саму себя!»

— Правда, — сказал Ганувер, пришедший в заметно нервное состояние, — иногда его речи огорошивают, бывает также, что ответ невпопад, хотя редко. Так однажды я произнес: «Сегодня теплый день», — и мне выскочили слова: «Давай выпьем!»

Все были взволнованы.

— Ну что, Санди? Ты удивлен? — спросил Поп.

Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал:

— Это ли еще встретишь в загадочных дворцах?!

Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, слвинув брови, и как бы спрашивала: «Почему ты здесь? Объясни».

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения: идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после «Ксаверия» не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям, о нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

— У вас много монстров? — сказала Гануверу Дигэ.

— Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

— Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия, — объявил Томсон.

— В самом деле, — продолжала Дигэ, — такая масса денег на... гм... прихоти. И какие прихоти!

— Вы правы. — очень серьезно ответил Ганувер. — В будущем возможно иное. Я не знаю.

— Так спросим Ксаверия! — вскричал Галуэй.

— Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться смотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображал, что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я в совершенном безразличии пошел было за ним, но, когда его скрыла следующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему у стены широкого прохода, и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятий отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенел, задремал и уснул. Как оказалось впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием, и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство — он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца. И, следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

— Пусть спит, — сказал Ганувер, — это хорошо — спать. Я уважаю сон. Не будите его.

XV

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руку под щеку, намереваясь еще поспать. Меж тем сознание тоже просыпалось, и в то время, как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед

нагрянуло все: холодными струйками выбежал сон из членов моих, и в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в потрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть, даже ночь. Огромное лунное окно стояло передо мной. Электричество не горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал в глубину, как бы осматриваясь. В этом смешении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем, подменившим материальную ясность призрачной лучистой тревогой. Линия света, отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колена статуи, серебро люстры, расплывалась в сумраке — одна на всю мрачную даль; сверкала неизвестная точка зеркала или металлического предмета... почему знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный гем, что был забыт, как отбившееся животное, не понимая, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь, вместо того, чтобы волочить его полужаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высынаемся, нет нужды смотреть на часы, внутри нас если не точно, то с уверенностью сказано уже, что спали мы долго. Без сомнения, мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заспал указания памяти относительно направления, как шел сюда, блуждал мрачно, наугад и так торопясь, что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. Спросонок я пришел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошел к лестнице и, спустясь вниз, пополз на широкую площадку с запертыми кругом дверьми. Поднявшись

опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галерею, через которую шел днем; найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя бы на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова пришел к запертой двери и должен повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где совершенно темно.

Устав, я присел и сидя рвался идти, но выдержал, пока не превозмог огорчения одиночества, лишившего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей не из боязни, что озарится все множество помещенный или раздастся звон тревоги — это приходило мне в голову вчера, — но потому, что не мог их найти. Я взял спички, светил около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу среди мебели такого вида и такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы, — хотя яркий свет сам по себе приятно освежил зрение, озарились лишь эти стены, напоминающие зеркальные пруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бродить здесь всю ночь. Итак, оставив это намерение, я пустился вновь на поиски сообщения с низом дома и, когда вышел, услышал негромко доносящуюся сюда прекрасную музыку.

Как вкопанный я остановился, сердце мое забилося. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до этого моя влюбленность в Дюрока, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили, и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза — какой-то отрывистый перелив флейт — манила и манила меня; положительно, она несла аромат грусти и увлечения. Тогда взволнованный, как будто это была моя музыка, как будто все лучшее.

обещанное ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз.

В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной; так много, так много раз останавливался, чтобы наспех сообразить направление, что совершенно закружился. Иногда поблизости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг, с зачастившим сердцем, я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя, как мне показалось; миновав колонны, я увидел разрезанную сверху донизу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую матерью, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися от душевной бури ногами. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как день славы после морской битвы у островов Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, среди золотых труб и синих цветов.

XVI

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса цвести среди блестящего мрамора, — как мое настроение выровнялось, согласуясь с происходящим. Я уже не был главным лицом,

которому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что, изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако то, что я увидел, разом уперлось в грудь, уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился, как пень, посреди паркета огромной, с настоящей далью, залы, где расхаживало множество народа, мужчин и женщин, одетых во фраки и красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроенные из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят, может быть, двести. Одни беседовали, рассеявшись группами, другие проходили через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но, благодаря зеркалам, казалось, что здесь еще много других дверей; в их частой пустоте отражалась вся та зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных феерий. Вокруг раздавались смех, говор, сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум — ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин,двигающих веерами и поворачивающихся друг к другу, стояли, склоняясь, как шмели вокруг ясных цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках, душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных, мускулистых людей с упрямыми лицами, цепь девушек, колеблющихся и легких, быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина с взбитой седой прической. В круге расхохотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах; он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движе-

ния гостей, лавируя и перебегая с ловкостью танцоров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, что я поэтому равный среди гостей, и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в сторону. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но — увы! — это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я чувствовал себя глупо не с непривычки, а только потому, что был в полном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли объяснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них и, в то время как стал думать об этом еще раз, вдруг заметил входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг всгала, избоченясь с быстротой гуся, и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилось, когда я увидел приближающегося к ней, как бы из зеркал или воздуха — так неожиданно оказался он здесь, — Эстампа. Я был уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней.

Поколебавшись, я двинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился к Гануверу, став несколько

позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыхался, как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека. Казалось, в нем беспрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер; ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело властным, значительным. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с художником испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался; вслед затем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеянным взглядом, но тотчас узнал меня и, даже протянув руку, весело потрепал мои волосы. Я стоял, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал: «Ну, что, Санди, дружок?» И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

— Что же, поспал? — сказал Дюрок. Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втащил меня в середину.

— Это мой воспитанник, — сказал он. — Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди... э, как его, Эстамп?

— Пруэль, — сказал я. — Санди Пруэль.

— Очень самолюбив, — заметил Эстамп, — смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

— Через десять лет, а если я умру, мой сын — даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно, — заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. — Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись! — сказал дон Эстебан Гануверу.

— О! ну, нет, конечно, — ответил тот, и я был оставлен при триумфе и сердечном веселье. Группа перешла к другому концу зала. Я повернулся еще, первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда была видна вся зала, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами в отличном расположении духа. Галуэй, дергая шкской, заложив руки в карманы и покачиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон благосклонно вслушивался; одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложенным веером, две другие переглядывались между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли, — девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдержать слово, с девушкой, которая милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, должна была радоваться и сиять здесь и идти под руку с Ганувером, стыдась себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась, Молли больна и Молли уже была. «Да, она была, — говорил я, волнуясь, как за себя, — и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнце над его помраченной душой». Если бы

я знал, где она теперь, то есть будь она где-нибудь близко, я, наверно, сделал бы одну из своих сумасшедших штук. — пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла и от Ганувера все скрыто!

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более, что немногое, известное мне в этом деле, оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком, и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться.

Сам себе не отдавая в том отчета, я желал радости в сегодняшней вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами, — во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием, таким красивым в этих необычайных условиях. Дело обстояло и разворачивалось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли, — появления, опрокидывающего весь темный план, — веселого плеска майского серебряного ручья, я ничего не хотел и ничто другое не могло служить для меня оправданием тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие.

Не надо, однако, думать, что мысли мои в то время выразились такими словами, — я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей обводить чертой слова мелькающие, как пена, образы. Но они не остались без выражения; за меня мир мой душевный выражала музыка скрытого на хорах оркестра.

Да, всего только за двадцать четыре часа Санди Пруэль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старее, умнее, тише. Я мог бы, конечно, с вели-

ким удовольствием сесть и играть, катая вареные круглые яйца, каковая игра называется «съешь скорлупку», — но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне положительно был необходим Поп, но я не смел еще бродить, где хочу, отыскивая его, и, когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, мне как бы подали напиток после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

— Ну вот, — сказал Поп и, слегка оглянувшись, тихо прибавил: — сегодня произойдет *нечто*. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден и вы много сделали нам. Приготовьтесь: еще неизвестно, что может быть.

— Когда? Сейчас?

— Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выснаться?

— Поп, — сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутливую улыбку, — дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но... но... я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите: что с Молли?

— Ну, что вам Молли?! — сказал он, смеясь и пожимая плечами. — Молли, — он сделал ударение, — скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

— Как! Она здесь?

— Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

— Успокойтесь, — сказал Поп, — не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

— Паркер, — сказал Поп, — мороженого мне и Санди, большие порции.

— Слушаю, — сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным видом, как будто в тре-

бованни мороженого было все дело этого вечера. — Какого же? Земляничного, апельсинного, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или...

— Кофейного, — перебил Поп. — А вам, Санди?

Я решил показать «бывалость» и потребовал ананасового, но — увы! — оно было хуже кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовушем в Замечательную Страну.

Я думал также, как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу — еще днем, когда мы ели и пили, — сказать: «Санди, вот какое у нас дело...» — и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, недолгое знакомство и все прочее, что могло Попу мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом, — так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом, от великой щедрости, воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку.

— Меня не будет за столом, — сказал он, — очень вас прошу, не спрашивайте о причинах этого велух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

— Я не так глуп, — ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба, — не так я глуп, чтобы говорить мне это, как маленькому.

— Очень хорошо, — сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассеявшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, — их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого?! Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал

тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале. Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Гануверу и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огней и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрока, скажу плачущей надо мной Молли: «Не плачьте. Санди умирает, как жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучающим молчанию».

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенного лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом, и, став опять любопытным, я тоже пошел среди легкого шума нарядной, оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а также и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял ее на счастье, загадав, что если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица. «Любит, не любит, — сказала мне эта женщина, — как у вас вышло?» Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руку в карман, озираясь среди красавиц, поднявших Санди, правда очень мило, — на смех. Я сказал: «Ничего не вышло», — и, наверное, был уныл при этом,

так как меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда попал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным полом, углубления которого тонкой причудливой резьбы были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в разных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висело по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блестели живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь, — так высок и просторен был размах помещения.

Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, как пена морская, скатертями; столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы, или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывали два прямоугольных «С», обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеянный гулким эхо. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но, как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободное место на этом конце стола — ближе к двери, — я видел много еще незанятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значащим видом.

— Ты сядешь рядом со мной, — сказал он, — поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева. — Сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я занял кресло перед столом, имея по правую руку Дюрока, а по левую — высокую, тощую, как жердь, даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи от меня нанскось, а против него, между Дюроком и Галуэем, поместилась Дигэ. Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я собирался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструменты оркестра, развивая каждый свои ноты — слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав робость, и что-то сказала, но я, ничего не поняв, ответил: «Да, это так». Она больше не заговаривала со мной, не смот-

рела на меня, и я был от души рад, что чем-то ей не понравился. Вообще я был как в тумане. Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изяшные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых горелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки. С чем? Надо было съесть это, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что, казалось, стоит съесть немного, как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ед это ароматическое искусство. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накопившийся среди подавляющих его впечатлений: я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, обрел самого себя и съел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная и в третий раз. Я оставил ее стоять и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком, в другом конце зала, с широкого балкона грянул оркестр и продолжал тише, чем шум стола, напоминая о блистающей Стране.

В это время начали бить невидимые часы, ясно и медленно пробило одиннадцать, покрыв звуком все: шум и оркестр. В разговоре, от меня справа, прозвучало слово «Эстамп».

— Где Эстамп? — сказал Ганувер Дюроку. — После обеда он вдруг исчез и не появляется. А где Поп?

— Не далее, как полчаса назад, — ответил Дюрок, — Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эстампа же мы вряд ли дождемся.

— Почему?

— А... потому, что я видел его... тэт-а-тэт...

— Т-так, — сказал Ганувер, потускнев, — сегодня все уходят, начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет капитана Орсуну. А я так ждал этого дня...

В это время поллетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

— Вот я, — сказал он, — не трогайте капитана Орсуну. Ну, слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

— Как, феи?! — сказал Ганувер. — Слушайте, Дюрок, это забавно.

— Следовало привести фею, — заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

— Понятно, что вы оноздали, — заметил Галуэй. — Я бы совсем не пришел.

— Ну, да вы... — сказал капитан, который, видимо, торопился поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам. — Вы — другое дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь, и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Когда я поравнялся с южным углом павильона, то случайно взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шесей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком...

— Босиком! — вскричал Галуэй в то время, как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Все были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

— Она была босиком, — это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке, — ну, право же, очень миленькие чулочки — паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога, — капитан метнул Дигэ покаянный взгляд, прервав сам себя, — прошу прощения, — другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за минуту...

— Нога... — перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: «Стоп! Задний ход!» И мы остановились, как охотничья собака над перепелкой. Я скажу: берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью! «Послушайте, — сказал я, — кто вы?»... Катер обогнул кусты и предстал перед ее не то чтобы недовольным, но, я сказал бы, — не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас; я сказал: «Что вы здесь делаете?» Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голос, о, какой это красивый был голос! — не простого человека был голос, голос был...

— Ну, — перебил Томсон с характерной для него резкой тишиной тона, — кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

— Она сказала, — повторил капитан, у которого покраснели виски, — вот что: «Да у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить». Все! А? — Он хлопнул себя обеими руками по коленам и спросил: — Какое? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

— Это была горничная, — сказала Дигэ, — но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно.

Галуэй что-то промычал. Вдруг все умолкли. Чье-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь молчавший с странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюрокку и остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокойный свет.

Ганувер влохнул и рассмеялся очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы первого такта.

— Орсуна, радость моя, капитан капитанов! — сказал он. — На мысе Гардена с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское население стало очень разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дингэ Альвивиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

— Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем точный смысл, — сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, по-видимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки, то это я. Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и объяснений я знал уже, что капитан видел Молли и что она будет здесь здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, первнее, затем перешел в град шуток, которым осыпали капитана. Он сказал:

— Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, приедет завтра.

— Очень жаль, — сказал Ганувер, — а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

— Хо! Конечно, нет.

— Глаз художника и сердце бульдога! — сказал Галуэн.

Капитан шумно откашлялся.

— Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника. А впрочем, я налью себе еще этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло и минуты, как три удара в гонг связали шум и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить, я видел это по устремленным на него взглядам; он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

— Гости! — произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой огромной залы позволял в меру напрягать голос. — Вы — мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал, что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь, и продолжал так же спокойно:

— Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней.

Я вижу лица, напоминающие дни опасности и веселья, случайностей, походов, тревог, дел и радостей.

Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому пароходу, «Орландо».

Амелия Корниус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам, по малодушию или легкомыслию, не знаю, но не заплатил. На днях мы выясним этот вопрос.

Вильям Вильсон! На вашей вилле я выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я после кризиса не мог поднять ни головы, ни руки.

Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз.

Генри Токвиль! Вашему банку я обязан удачным залогом, сохранением секрета и возвращением золотой цепи.

Лейтенант Глаудис! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь сам не знаю за что.

Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта «Индияны», когда я упал туда во время шторма вблизи Адена.

Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы первоначально выслушали меня и высмеяли и багровели четверть часа: наконец сказали: «Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я припишу на доске у двери: «Архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три».

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого безобразного человека с надменным выражением толстого лица и иронической бровью; выслушав, Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев вбок, сказал:

— Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

— Ну, — сказал он, вынимая часы, — назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь. — Он задумался с остывшей улыбкой, но тотчас встрепенулся: — Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего,

но вы видите, что я все хорошо помню. И так, я помню обо всех всё, все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не объяснить вам ее в кратких словах. Вероятно, страсть эта может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном, непоколебимость строительного громада, которой я могу играть давлением пальца. И я это понял недавно, я ждал, что, осуществив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однако, неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной... одному лицу, — дело относится к прошлому. Тогда мы, два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая на земле, где была закопана нами груда чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шехерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего не известно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило: «Уж если мечтать, то мечтать...»

В это время начало бить двенадцать.

— Дигэ, — сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика, — ну-ка, потряните стариной Али-Бабы и его сорока разбойников!

— Что же произойдет? — закричал любопытный голос с другого конца стола.

Дигэ встала, смеясь.

— Мы вам покажем! — заявила она, и если волновалась, то нельзя ничего было заметить. — Откровенно скажу, я сама

не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

— Вы помните — как?.. — сказал Ганувер Дигэ.

— О, да. Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Вемотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился, лицо слегка дрогнуло, не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова, все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, который ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

— Снова! — закричал дон Эстебан.

— Штраф, — сказал Орсуна.

— Нехорошо дразить маленьких! — заметил Галуэй.

— Фу, как это глупо! — вскричала Дигэ, топнув ногой. —

Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу пробежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал:

— Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам...

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинувшись этому незначительному движению, все стены зала крутом вдруг отделились от потолка пустой, светлой чертой и, разом погружаясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я вместе с сиденьем как бы поплыл вверх.

XVIII

К тому времени я уже бессознательно твердил: «Молли не будет», — испытыв душевную пустоту и трезвую горечь последнего удара часов, вздрагивая перед тем от каждого восклицания, когда мне чудилось, что появились новые лица. Но падение стен, причем это совершилось так безупречно плавно, что не заколебалось даже вино в стакане, — выкололо из меня все чувства одним ужасным ударом. Мне показалось, что зала взметнулась на высоту среди сказочных колоннад. Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект подействовал, как обвал, и обернулся сиянием сказочно яркой силы, — так резко засияло оно.

Чтобы изобразить зрелище, открывшееся в темпе апоплексического удара, я вынужден применить свое познейшее знание искусства и материала, двинутых Ганувером из небытия в атаку собрания. Мы были окружены колоннадой черного мрамора, отраженной прозрачной глубиной зеркала, шириной не менее двадцати футов и обходящего пол бывшей залы мнимым четырехугольным провалом. Ряды колонн, по четыре в каждом ряду, были обращены флангом к общему центру и разделены проходами одинаковой ширины по всему их четырехугольному строю. Цоколи, на которых они стояли, были высоки и массивны. Меж колонн сыпались один выше другого искрящиеся водяные стебли фонтанов, — три струи на каждый фонтан; в падении они имели вид изогнутого пера. Все это, повторенное прозрачным отражающим низом, стояло как одна светлая глубина, выложенная сверху и внизу взаимно опрокинутой колоннадой. Линия отражения, находясь в одном уровне с полом залы и полами пространств, которые сверкали из-за колонн, придавала основе зрелища видимость ковров, разостланных в воздухе. За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого

цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены с бисерной глубиной в бледном тумане рисунка странных пейзажей; мебель — прихотливее и прелестнее воздушных гирлянд в лунную ночь — не вызывала даже желанья рассмотреть подробности. Задуманное и явленное, как хор, действующий согласием множества голосов, это артистическое безумие сияло из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь.

Между тем дальний от меня конец залы, под галереей для оркестра, выказывал зрелище, где его творец сошел из поражающей красоты к удовольствию точного и законченного впечатления. Пол был застлан сплошь белым мехом, чистым, как слой первого снега. Слева сверкал камин литого серебра с узором из малахита, а стены, от карниза до пола, скрывали плющ, пропуская блеск овальных зеркал ковром темно-зеленых листьев; внизу, на золоченой решетке, обходящей три стены, вилял желтый узор роз. Эта комната, или маленькая зала, с белым матовым светом одной люстры — настоящего жемчужного убора из прозрачных шаров, свесившихся опрокинутым конусом, — совершенно остановила мое внимание; я засмотрелся в ее прекрасный уют и, обернувшись наконец взглянуть, нет ли еще чего сзади меня, увидел, что Дюрок встал, протянув руку к дверям, где на черте входа остановилась девушка в белом и гибком, как она сама, платье, с разгоревшимся, нервно спокойным лицом, храбро устремив взгляд прямо вперед. Она шла, закусив губку, вся — ожидание. Я не узнал Молли, — так преобразилась она теперь; но тотчас схватило в горле и все, кроме нее, пропало. Как безумный, я закричал:

— Смотрите, смотрите! Это Молли! Она пришла! Я знал, что придет!

Ужасен был взгляд Дюрока, которым он охватил меня, как железом. Ганувер, побледнев, обернулся, как на пружи-

нах, и все, кто был в зале, немедленно посмотрели в эту же сторону. С Молли появился Эстамп; он только взглянул на Ганувера и отошел. Наступила чрезвычайная тишина, — совершенное отсутствие звука, и в тишине этой, оброненное или стукнутое, тонко прозвенело стекло.

Все стояли по шее в воде события, нахлынувшего внезапно. Ганувер подошел к Молли, протянув руки, с забывшимся и диким лицом. На него было больно смотреть, — так вдруг ушел он от всех к одной, которую ждал. «Что случилось?» — прозвучал осторожный шепот. В эту минуту оркестр, мягко двинув мелодию, дал знать, что мы прибыли в Замечательную Страну.

Дюрок махнул рукой на балкон музыкантам с такой силой, как будто швырнул камнем. Звуки умолкли. Ганувер взял приподнятую руку девушки и тихо посмотрел ей в глаза.

— Это вы, Молли? — сказал он, оглядываясь с улыбкой.

— Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь!

— Молли. — Он хрипло вздохнул, держа руку у горла, потом притянул ее голову и поцеловал в волосы. — Молли! — повторил Ганувер. — Теперь я буду верить всему! — Он обернулся к столу, держа руку девушки, и сказал: — Я был очень беден. Вот моя невеста, Эмилия Варрен. Я не владею собой. Я не могу больше владеть собой, и вы не осудите меня.

— Это и есть фея! — сказал капитан Орсун. — Клянусь, это она!

Дрожащая рука Галуэя, укрепившего монокль, резко упала на стол.

Дигэ, опустив внимательный взгляд, которым осматривала вошедшую, встала, но Галуэй усадил ее сильным, грубым движением.

— Не смей! — сказал он. — Ты будешь сидеть.

Она опустила с презрением и тревогой, холодно двинув бровью. Томсон, прикрыв лицо рукой, сидел, катая хлеб-

ный шарик. Я все время стоял. Стояли также Дюрок, Эстамп и капитан и многие из гостей. На праздник, как на луг, легла тень.

Началось движение, некоторые вышли из-за стола, став ближе к нам.

— Это — вы? — сказал Ганувер Дюроку, указывая на Молли.

— Нас было трое, — смеясь, ответил Дюрок. — Я, Санди, Эстамп.

Ганувер сказал:

— Что это... — Но его голос оборвался. — Ну хорошо, — продолжал он, — сейчас не могу я благодарить. Вы понимаете. Оглянитесь, Молли, — заговорил он, ведя рукой вокруг, — вот все то, как вы строили на берегу моря, как это вам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?

— Не надо... — сказала Молли, потом рассмеялась. — Будьте спокойнее. Я очень волнуюсь.

— А я? Простите меня! Если я помешаюсь, это так и должно быть. Дюрок! Эстамп! Орсуна! Санди, плут! И ты тоже молчал, — вы все меня подождли с четырех концов! Не сердитесь, Молли! Молли, скажите что-нибудь! Кто же мне объяснит все?

Девушка молча сжала и потрясла его руку, мужественно обнажая этим свое сердце, которому пришлось испытать так много за этот день. Ее глаза были полны слез.

— Эверест, — сказал Дюрок. — Это еще не все!

— Совершенно верно, — с вызовом откликнулся Галуэй, вставая и подходя к Гануверу. — Кто, например, объяснит мне кое-что непонятное в деле моей сестры, Дигэ Альвавиз? Знает ли эта девушка?

— Да, — растерявшись, сказала Молли, взглядывая на Дигэ, — я знаю. Но ведь я — здесь.

— Наконец избавьте меня... — произнесла Дигэ, вставая, — от какой бы то ни было вашей позы, Галуэй, по крайней мере, в моем присутствии.

— Август Тренк, — сказал, прихлопывая всех, Дюрок Галуэю, — я объясню, что случилось. Ваш товарищ, Джек Гаррисон, по прозвищу «Вас-ис-дас», и ваша любовница Этель Мейер должны понять мой намек или признать меня довольно глупым, чтобы уметь выяснить положение. Вы проиграли!

Это было сказано громко и тяжело. Все оцепенели. Гости, покинув стол, собрались тучей вокруг налетевшего действия. Теперь мы стояли среди толпы.

— Что это значит? — спросил Ганувер.

— Это финал! — вскричал, выступая, Эстамп. — Три человека собрались ограбить вас под чужим именем. Каким образом, — вам известно.

— Молли, — сказал Ганувер, вздрогнув, но довольно спокойно, — и вы, капитан Орсун! Прошу вас, уведите ее. Ей трудно быть сейчас здесь.

Он передал девушку, послушную, улыбающуюся, в слезах, мрачному капитану, который спросил: «Голубушка, хотите, посидим с вами немного?» — и увел ее. Уходя, она приостановилась, сказав: «Я буду спокойной. Я все объясню, все расскажу вам, — я вас жду. Простите меня!»

Так она сказала, и я не узнал в ней Молли из бордингауза. Это была девушка на своем месте, потрясенная, но стойкая в тревоге и чувстве. Я подивился также самообладанию Галуэя и Дигэ; о Томсоне трудно сказать что-нибудь определенное: услышав, как заговорил Дюрок, он встал, заложил руки в карманы и свистнул.

Галуэй поднял кулак в уровень с виском, прижал к голове и резко опустил. Он растерялся лишь на одно мгновение. Шевеля всером у лица, Дигэ безмолвно смеялась, продолжая сидеть. Дамы смотрели на нее, кто в упор, с ужасом, или через плечо, но она, как бы не замечая этого оскорбительного внимания, следила за Галуэем.

Галуэй ответил ей взглядом человека, получившего удар по щеке.

— Канат лопнул, сестричка! — сказал Галуэй.

— Ба! — произнесла она, медленно вставая, и, притворно зевнув, обвела бессильно высокомерным взглядом толпу лиц, взиравших на сцену с молчаливой тревогой.

— Дигэ, — сказал Ганувер, — что это? Правда?

Она пожала плечами и отвернулась.

— Здесь Бен Дрек, переодетый слугой, — заговорил Дюрок. — Он установил тождество этих людей с героями шантажной истории в Ледингенте. Дрек, где вы? Вы нам нужны!

Молодой слуга, с черной прядью на лбу, вышел из толпы и весело кивнул Галуэю.

— Алло, Тренк! — сказал он. — Десять минут тому назад я переменял вашу тарелку.

— Вот это торжество! — вставил Томсон, проходя вперед всех ловким поворотом плеча. — Открыть имя труднее, чем повернуть стену. Ну, Дюрок, вы нам поставили шах и мат. Ваших рук дело!

— Теперь я понял, — сказал Ганувер. — Откройтесь! Говорите все... Вы были гостями у меня. Я был с вами любезен, клянусь, — я вам верил. Вы украли мое отчаяние, из моего горя вы сделали воровскую отмывку! Вы, вы, Дигэ, сделали это! Что вы, безумные, хотели от меня? Денег? Имени? Жизни?

— Добычи, — сказал Галуэй. — Вы меня мало знаете.

— Август, он имеет право на откровенность, — заметила вдруг Дигэ, — хотя бы в виде подарка. Знайте, — сказала она, обращаясь к Гануверу, и мрачно посмотрела на него, в то время как ее губы холодно улыбались, — знайте, что есть способ сократить дни человека незаметно и мирно. Надеюсь, вы оставите завещание?

— Да.

— Оно было бы оставлено мне. Ваше сердце в благоприятном состоянии для решительного опыта без всяких следов.

Ужас охватил всех, когда она сказала эти томительные слова. И вот произошло нечто, от чего я содрогнулся до слез; Ганувер пристально посмотрел в лицо Этель Мейер, взял ее руку и тихо поднес к губам. Она вырвала ее с ненавистью, отшатнувшись и вскрикнув.

— Благодарю вас, — очень серьезно сказал он, — за то мужество, с каким вы открыли себя. Сейчас я был как ребенок, испугавшийся темного угла, но знающий, что сзади него, в другой комнате, — светло. Там голоса, смех и отдых. Я счастлив, Дигэ, — в последний раз я вас называю «Дигэ». Я расстаюсь с вами, как с гостьей и женщиной. Бен Дрек, дайте наручники.

Он отступил, пропустив Дрека. Дрек помахал браслетами, ловко поймав отбивающуюся женскую руку, запор звякнул, и обе руки Дигэ, бессильно рванувшись, отразили в ее лице злое мучение. В тот же момент был пойман лакеями пытавшийся увернуться Томсон и выхвачен револьвер у Галуэя. Дрек заковал всех.

— Помните, — сказал Галуэй, шатаясь и задыхаясь, — помните, Эверест Ганувер, что сзади вас не светло! Там не освещенная комната. Вы идиот.

— Что, что? — вскричал дон Эстебан.

— Я развиваю скандал, — ответил Галуэй, — и вы меня не ударите, потому что я окован. Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо. Я вижу вещи, как они есть. Вам была нужна одна женщина — если бы я ее бросил для вас — моя любовница, Этель Мейер; в этом доме она как раз то, что требуется. Лучше вам не найти. Ваши деньги понеслись бы у нее в хвосте диким аллюром. Она знала бы, как завоевать самую беспощадную высоту. Из вас, ничтожества, умеющего только грезить, обладая Голкондой, она свила бы железный узел, показала прелесть, вам неизвестную, растленной жизни с запахом

гиацинта. Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели — расти и доить, — заставили тигра улыбаться игрушкам, и все это ради того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Мы знаем вашу историю. Она куплена нами и была бы зачеркнута. Была бы! Теперь вы ее продолжаете. Но вам не удастся вывести прямую черту. Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти — клянусь! — превосходные залы, или она сама сделается Эмилией Ганувер — больше, чем вы хотите того, трижды, сто раз Эмилия Ганувер!

— Никогда! — сказал Ганувер. — Но двадцать тысяч шагов... Ваш счет верен. Однако я запрещаю говорить дальше об этом. Бен Дрек, раскуйте молодца, раскуйте женщину и того, третьего. Гнев мой улегся. Сегодня никто не должен пострадать, даже враги. Раскуйте, Дрек! — повторил Ганувер изумленному агенту. — Вы можете продолжать охоту где хотите, но только не у меня.

— Хорошо, ох! — Дрек, страшно досадуя, освободил закованных.

— Комедиант! — бросила Дигэ с гневом и смехом.

— Нет, — ответил Ганувер, — нет. Я вспомнил Молли. Это ради нее. Впрочем, думайте что хотите. Вы свободны. Дон Эстебан, сделайте одолжение, напишите этим людям чек на пятьсот тысяч, и чтобы я их больше не видел!

— Есть, — сказал суловладелец, вытаскивая чековую книжку. — Ну, Тренк, и вы, мадам Мейер, отгадайте: *поза* или *пирог*?

— Если бы я мог, — ответил в бешенстве Галуэй, — если бы я мог передать вам свое полнейшее равнодушие к мнению обо мне всех вас — так как оно есть в действительности, чтобы вы поняли его и остолбенели, — я не колеблясь сказал бы «пирог» и ушел с вашим чеком, смеясь в глаза. Но я сбит. Вы можете мне не поверить.

— Охотно верим, — сказал Эстамп.

— Такой чек стоит всякой утонченности, — провозгласил Томсон, — и я первый благословляю наносимое мне оскорбление.

— Ну, что там... — с ненавистью сказала Дигэ.

Она выступила вперед, медленно подняла руку и, смотря прямо в глаза дону Эстебану, выхватила чек из руки, где он висел, удерживаемый концами пальцев. Дон Эстебан опустил руку и посмотрел на Дюрока.

— Каждый верен себе, — сказал тот, отворачиваясь.

Эстамп поклонился, указывая дверь.

— Мы вас не удерживаем, — произнес он. — Чек ваш, вы свободны, и больше говорить не о чем.

Двое мужчин и женщина, плечи которой казались сзади в этот момент пригнутыми резким ударом, обменялись вполголоса немногими словами и, не взглянув ни на кого, поспешно ушли. Они больше не казались живыми существами. Они были убиты на моих глазах выстрелом из чековой книжки. Через дверь самое далекое зеркало повторило движения удаляющихся фигур, и я, бросившись на стул, не удержимо заплакал, как от смертельной обиды, среди волнения потрясенной толпы, спешившей разойтись.

Тогда меня коснулась рука; я поднял голову и с горьким стыдом увидел ту веселую молодую женщину, от которой взял розу. Она смотрела на меня внимательно, с улыбкой и интересом.

— О простота! — сказала она. — Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной. Возьми другой цветок, на память от Камиллы Флерон.

Она ласково протянула мне, а я машинально сжал георгина цвета вишни. Затем я так же машинально опустил руку в карман и вытащил потемневшие розовые лепестки, которыми боялся сорить. Дама исчезла. Я понял, что она хотела сказать *этим*, значительно позже.

Георгин я храню по сей день.

XIX

Между тем почти все разошлись; немногие оставшиеся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола. Несколько раз пробегающие взад и вперед слуги были задержаны жестами одиноких групп и беспомощно разводили руками или же давали знать пожатием плеч, что происшествя этого вечера для них совершенно темны. Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи. Никто более не входил сюда. Я встал и вышел. Когда я проходил третью по счету залу, замечая иногда удаляющуюся тень или слыша далеко от себя звуки шагов, — дорогу пересек Поп. Увидев меня, он встрепенулся.

— Где же вы?! — сказал Поп. — Я вас ишу. Пойдемте со мной. Все кончилось очень плохо!

Я остановился в испуге, так что, спеша и опередив меня, Поп должен был вернуться:

— Не так страшно, как вы думаете, но чертовски скверно. У него был припадок. Сейчас там все, и он захотел видеть вас. Я не знаю, что это значит. Но вы пойдете, не правда ли?

— Побежим! — вскричал я. — Ну, *ей*, должно быть, здорово тяжело!

— Он оправится, — сказал Поп, идя быстрым шагом, но как будто топтался на месте, — так я торопился сам. — Ему уже значительно лучше. Даже немного посмеялись. Знаете, он запустил болезнь и никому не пикнул об этом! Вначале я думал, что мы все виноваты. А вы как думаете?

— Что же меня спрашивать? — возразил я с обидой. — Ведь я знаю менее всех!

— Не очень виноваты, — продолжал он, обходя мой ответ. — В чем-то не виноваты, это я чувствую. Ах, как он радовался! Тс! Это его спальня.

Он постучал в замкнутую высокую дверь, и, когда соби-
рался снова стучать, Эстамп открыл изнутри, немедленно
отойдя и договаривая в сторону постели прерванную нашим
появлением фразу — «поэтому вы должны спать. Есть пре-
дел впечатлениям и усилиям. Вот пришел Санди».

Я увидел прежде всего сидящую у кровати Молли; Гану-
вер держал ее руку, лежа с высоко поднятой подушками го-
ловой. Рот его был полураскрыт, и он трудно дышал, говоря
с остановками, негромким голосом. Между краев расстегну-
той рубашки был виден грудной компресс.

В этой большой спальне было так хорошо, что вид боль-
ного не произвел на меня тяжелого впечатления. Лишь
присмотревшись к его, как бы озаренному тусклым светом,
лицу, я почувствовал скверное настроение минуты.

У другого конца кровати сидел, заложив ногу на ногу,
Дюрок, дон Эстебан стоял посредине спальни. У стола док-
тор возился с лекарствами. Капитан Орсун ходил из угла в
угол, заложив за широкую спину обветренные короткие руки.
Молли была очень нервна, но улыбнулась, когда я вошел.

— Сандерсончик! — сказала она, блеснув на момент жи-
востью, которую не раздавило ничто. — Такой был хоро-
шенький в платочке! А теперь... Фу!.. вы плакали?

Она замахала на меня свободной рукой, потом поманила
пальцем и убрала с соседнего стула газету.

— Садитесь. Пустите мою руку, — сказала она ласково
Гануверу. — Вот так! Сядем все чинно.

— Ему надо спать, — резко заявил доктор, значительно
взглядывая на меня и других.

— Пять минут, Джонсон! — ответил Ганувер. — Пришла
одна живая душа, которая тоже, я думаю, не терпит одино-
чества. Санди, я тебя позвал, — как знать, увидимся ли мы
еще с тобой? — позвал на пару дружеских слов. Ты видел
весь этот кошмар?

— Ни одно слово, сказанное там, — произнес я в лучшем своем стиле потрясенного взрослого, — не было так глубоко спрятано и запомнено, как в моем сердце.

— Ну, ну! Ты очень хвастлив. Может быть, и в моем также. Благодарю тебя, мальчик, ты мне тоже помог, хотя сам ты был, как птица, не знающая, где сядет завтра.

— Ох, ох! — сказала Молли. — Ну как же он не знал? У него есть на руке такая надпись, — хотя я и не видела, но слышала.

— А вы?! — вскричал я, задетый по наиболее месту устами той, которая должна была пощадить меня в эту минуту. — Можно подумать — как же! — что вы очень древнего возраста! — Испугавшись собственных слов, едва я удержался сказать лишнее, но мысленно повторял: «Девчонка! Девчонка!»

Капитан перестал ходить, посмотрел на меня, щелкнул пальцами и грузно сел рядом.

— Я ведь не спорю, — сказала девушка, в то время как затихал смех, вызванный моей горячностью. — А может быть, я и правда старше тебя!

— Мы делаемся иногда моложе, иногда — старше, — сказал Дюрок.

Он сидел в той же позе, как на «Эспаньоле», отставив ногу, откинувшись, слегка опустив голову, а локоть положив на спинку стула.

— Я шел утром по береговому песку и услышал, как кто-то играет на рояле в доме, где я вас нашел, Молли. Точно так было семь лет назад, почти в этой же обстановке. Я шел тогда к девушке, которой более нет в живых. Услышав эту мелодию, я остановился, закрыл глаза, заставил себя перенестись в прошлое и на шесть лет стал моложе.

Он задумался. Молли взглянула на него украдкой, потом, выпрямившись и улыбаясь, повернулась к Гануверу.

— Вам очень больно? — сказала она. — Быть может, лучше, если я тоже уйду?

— Конечно, нет, — ответил он. — Санди, Молли, которая тебя так сейчас обидела, была худым черномазым пленцом на тощих ногах всего только четыре года назад. У меня не было ни дома, ни ночлега. Я спал в брошенном бараке.

Девушка заволновалась и завертелась.

— Ах, ах! — вскричала она. — Молчите, молчите! Я вас прошу. Остановите его! — обратилась она к Эстампу.

— Но я уже оканчиваю, — сказал Ганувер. — Пусть меня разразит гром, если я умолчу об этом. Она подскакивала, напевала, заглядывала в щель барака дня три. Затем мне были пропущены в дыру, в разное время: два яблока, старый передник с печеным картофелем и фунт хлеба. Потом я нашел цепь.

— Вы меня очень обидели. — громко сказала Молли. — очень. — Немедленно она стала смеяться. — Там же и зарыли ее, эту цепь. Вот было жарко! Сандерс, вы чего молчите, позвольте спросить?

— Ничего, — сказал я. — Я слушаю.

Доктор прошел между нами, взяв руку Ганувера.

— Еще минута воспоминаний, — сказал он, — тогда завтрашний день испорчен. Уйдите, прошу вас!

Дюрок хлопнул по колену рукой и встал. Все подошли к девушке — веселой или грустной? — трудно было понять, так тосковало, мгновенно освещаясь улыбкой или становясь внезапно рассеянным, ее подвижное лицо. Прощаясь, я сказал: «Молли, если я вам понадобится, рассчитывайте на меня!..» — и, не дожидаясь ответа, быстро выскочил первый, почти не помня, как холодная рука Ганувера стиснула мою крепким пожатием.

На выходе сошлись все. Когда вышел доктор Джонсон, тяжелая дверь медленно затворилась. Ее щель сузилась, блеснула последней чертой и исчезла, скрыв за собой двух людей, которым, я думаю, нашлось поговорить кое о чем без нас и иначе, чем при нас.

— Вы тоже ушли? — сказал Джонсону Эстамп.

— Такая минута. — ответил доктор. — Я держусь мнения, что врач должен иногда смотреть на свою задачу несколько шире закона, хотя бы это грозило осложнениями. Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах — жизнь или смерть. Во всяком случае, ему пока — хорошо.

XX

Капитан, тихо разговаривая с Дюроком, удалился в соседнюю гостиную. За ними ушли дон Эстебан и врач. Эстамп шел некоторое время с Попом и со мной, но на первом повороте, кивнув, «исчез по своим делам», как он выразился. Отсюда недалеко было в библиотеку, пройдя которую Поп зашел со мной в мою комнату и сел с явным изнеможением; я, постояв, сел тоже.

— Так вот, — сказал Поп. — Не знаю, засну ли сегодня.

— Вы их выследили? — спросил я. — Где же они теперь?

— Исчезли, как камень в воде. Дрек сбился с ног, подкарауливая их на всех выходах, но одному человеку трудно поспеть сразу к множеству мест. Вель здесь двадцать выходов, толпа, суматоха, переполох, и если они переоделись, изменив внешность, то вполне понятно, что Дрек сплеховал. Ну и он, надо сказать, имел дело с первостатейными артистами. Все это мы узнали потом, от Дрека. Дюрок вытасил его телеграммой; можете представить, как он торопился, если заказал Дреку экстренный поезд! Ну, мы поговорим в другой раз. Второй час ночи, а каждый час этих суток надо считать за три, — так все устали. Спокойной ночи!

Он вышел, а я подошел к кровати, думая, не вызовет ли ее вид желания спать. Ничего такого не произошло. Я не хотел спать: я был возбужден и неспокоен. В моих ушах все еще стоял шум; отдельные разговоры без моего усилия звучали снова

с характерными интонациями каждого говорящего. Я слышал смех, восклицания, шепот и, закрыв глаза, погрузился в мелькание лиц, прошедших передо мной за эти часы...

Лишь после пяти лет, при встрече с Дюроком, я узнал, отчего Дигэ, или Этель Мейер, не смогла в назначенный момент сдвинуть стены и почему это вышло так молниеносно у Ганувера. Молли была в павильоне с Эстампом и женой слуги Паркера. Она сама захотела появиться ровно в двенадцать часов, думая, может быть, сильнее обрадовать Ганувера. Она опоздала совершенно случайно. Между тем, видя, что ее нет, Поп, дежуривший у подъезда, бросился в камеру, где были электрические соединения, и разъединил ток, решив, что, как бы ни было, но Дигэ не произведет предполагаемого эффекта. Он закрыл ток на две минуты, после чего Ганувер вторично отвел металлический завиток.

Эпилог

I

В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы; каждый день умирало по пятисот и более человек.

Незадолго перед тем в числе прочей команды вновь отстроенного парохода «Валкирия» я был послан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и К° в Лисс, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для «Валкирии» команда. Кроме того, строгие карантинные правила по разным соображениям не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, частью скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из

участников истории, разыгравшейся пять лет назад во дворце «Золотая цепь».

После того, как Орсуна утром, на другой день после тех событий, увез меня из «Золотой цепи» в Сан-Риоль, я еще не бывал в Лиссе. — жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп; он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли и другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, кроме мыса Гардена и донна Эстебана. Эти письма я так и послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но, так как письмо в «Золотую цепь» было адресовано мной разом Эстампу и Дюроку, — ответа я не получил, может быть потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил, но ответил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает затем, чтобы я лишний раз не напоминал ей о ее горе своими посланиями.

Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами.

Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не додумался до очень простой вещи: что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне наконец оторваться от тех тридцати шести часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать «Золотую цепь», как отзвучавшую песню, но, чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня. Благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был неправодушен к ней очень долго, так как сердце мое начало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя.

На второй день прибытия в Лисс я посетил тот закоулок порта, где стояла «Эспаньола», когда я удрал с нею. Теперь стояли там две американские шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением Дюрока и Эстампа. Я навел также справки о «Золотой цепи», намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома в общем известно было ему лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному процессу со стороны сомнительных претендентов и дом был заперт все время до эпидемии, когда по его уединенности найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета.

У меня были уже небольшие усы; начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством посматривал в зеркало, сжимал губу и двигал плечом, — плечи стали значительно шире.

Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе «Тонус».

Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов, — я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился. прислав подозрительную записку, известно какого рода, а один я не любил посещать театр. Итак, это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу, навстречу мне попался старик в летнем пальто, котелке, с тросточкой, видимо, вышедший погулять, так как за его свободную руку держалась девочка лет пяти.

— Паркер! — вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу.

— Верно, — сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой. — Что-то при-

поминаю, — заговорил он нерешительно, — но, извините, последние годы плохо вижу.

— «Золотая цепь»! — сказал я.

— Ах, да! Ну, значит... Нет, разрази Бог, — не могу вспомнить.

Я хлопнул его по плечу.

— Санди Пруэль, — сказал я, — тот самый, *который все знает!*

— Паренек, это ты?! — Паркер склонил голову набок, просиял и умильно заторжествовал: — О, никак не узнать! Форма к тебе идет! Вырос, раздвинулся... Ну что же, надо поговорить! А меня вот внушка таскает: «пойдем, дед, да пойдём», — любит со мной гулять.

Мы прошли опять в «Тонус» и заказали вино; девочке заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлыча и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись на пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне «ты», затем постепенно проникся зрелищем перемены в лице изящного, загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, — и перешел на «вы».

Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц, нам известных, а больше всего — о Молли, которая обвинчалась с Дюроком полтора года назал. Кроме того, я узнал, что оба они здесь и живут очень недалеко — в гостинице «Пленэр», — приехали по делам Дюрока, а по каким именно. Паркер точно не знал, но он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением.

Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братцев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно, — он был ее дальним родственником с материнской стороны.

— А вы знаете, — сказал Паркер, — что она приезжала накануне того вечера одна, тайно в «Золотую цепь» и что я ей это устроил? Не знаете... Ну, так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела, — глупая девочка! — и разыскала меня, закутанная платком по глаза. Мы долго ходили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись — так была поражена; известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да. Большое удовольствие было написано на ее лице, — на нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала. Оглядывалась. Постукивала ногой. Стала тихонько петь. Вот — а это было в проходе между двух зал — наперерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галузем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул, — совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой, заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала: «Поклянись, что никому не выдашь, как я ходила здесь с тобой сегодня». Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал: «Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы она выбросила эти мысли о Дигэ». И не мог. Уже пошел слух; я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо — нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и — не решился. Вот какие дела!

Паркер стал говорить дальше; как ни интересно было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера, нетерпение мое отправиться к Дюроку росло и разразилось тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я наконец кликнул прислугу, чтоб расплатиться.

— Ну, что же, я вас понимаю, — сказал Паркер, — вам не терпится пойти в «Пленэр». Да и внучке пора спать. — Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав: — Будьте здоровы!..

— До свидания! — закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь. — До свидания! спасибо! спасибо!

— А как тебя зовут? — спросил я.

— Молли! Вот как! — сказала она, уходя с Паркером.

Праведное небо! Знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену? такую беспомощную, немного повыше стула?!

II

Волнение прошлого. Несчастен тот, кто недоступен этому изысканному чувству; в нем расстиллется свет сна и звучит грустное удивление. Никогда, никогда больше не повторится оно! По мере ухода лет уходит его осязаемость, меняется форма, пропадают подробности. Кажется так, хотя его суть та, та самая, в которой мы жили, окруженные заботами и страстями. Однако что-то изменилось и в существе. Как человек, выросший лишь умом — не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего, так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами; и, заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Напрасная трата времени!

В таком настроении я отправил Дюроку свою визитную карточку и сел, читая газету, но держа ее вверх ногами. Не прошло и пяти минут, а слуга уже вернулся, почти бегом.

— Вас просят, — сказал он, и я поднялся в бельэтаж с замиранием сердца. Дверь открылась; навстречу мне встал Дюрок. Он был такой же, как пять лет назад, лишь посеребрились виски. Для встречи у меня была приготовлена фраза: «Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и, верно, с трудом узнаете меня, так я изменился с тех пор», — но, сбившись, я сказал только: «Не ожидали, что я приду?»

— О, здравствуй, Санди! — сказал Дюрок, вглядываясь в меня. — Наверно, ты теперь считаешь себя старцем, для меня

же ты прежний Санди, хотя и с петушиным баском. Отлично! Ты дома здесь. А Молли, — прибавил он, видя, что я оглядываюсь, — вышла, она скоро придет.

— Я должен вам сказать, — заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие искренности, — что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену, — продолжал я с неуместным и сбивающим меня самого жаром, — трудно найти. Да, трудно! — вскричал я, желая говорить сразу обо всем и бессильный соскочить с первой темы.

— Ты много искал, сравнивал? У тебя большой опыт? — спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая. — Молчи. Учись, войдя в дом, хотя бы и после пяти лет, сказать несколько незначительных фраз, ходящих вокруг и около *значительного*, а потому как бы значительных.

— Как?! Вы меня учите?..

— Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганом. Ну, хорошо. Выкладывай свои пять лет. Звонок около тебя, протяни руку и позвони.

Я рассказал ему приключения первого моряка в мире, Сандерса Пруэля из Зурбагана, где родился под самым лучшим солнцем, наиярчайше освещающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя Свободы, за шестьдесят миль.

В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на Сигнальном Пустыре и в «Золотой цепи».

— Хорошая была страница, правда? — сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное твердое лицо отразило воспоминание, и он продолжал: — Смерть Ганувера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидно, его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем думали мы. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещания, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала

свою руку на его голове. Но, — Дюрок взглянул на дверь, — при Молли я не буду поднимать более разговора об этом, — она плохо спит, если поговорить о тех днях.

В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом: «Настой-чи-во про-ся впус-тить, нель-зя ли вас преду-пре-дить, что э-это я, душа моя...»

— Кто там? — притворно громко осведомился Дюрок.

— При-шла оч-ко-вая змея, — закончил голос, дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в которой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе. При виде меня ее смущенное лицо внезапно остыло, вытянулось и снова вспыхнуло.

— Конечно, я вас узнала! — сказала она. — С моей памятью, да не узнать подругу моих юных дней?! Сандерсончик, ты воскрес, милый?! Ну, здравствуй и прости меня, что я сочиняла стихи, когда ты, наверно, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну, отлично, я очень рада и... и... не знаю, что еще вам сказать. Пока что я сяду.

Я заметил, как смотрел на нее Дюрок, и понял, что он ее очень любит; и оттого, как он наблюдал за ее рассеянными, быстрыми движениями, у меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении.

С приходом Молли общий разговор перешел главным образом на меня, и я опять рассказал о себе, затем осведомился, где Поп и Эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне «ты», как будто я все еще был прежним Санди, да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она стала вполне развившейся женщиной, но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. Итак, она сказала:

— Попа ты не узнал бы, хотя и «все знаешь», извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон! Он ворочает большими делами в чайной фирме. А Эстамп — в Мексике. Он поехал к больной матери; она умерла, а Эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим.

У меня были желания, которые я не мог выполнить, и беспредельно томился ими, улыбаясь и разговаривая как заведенный. Мне хотелось сказать: «Вскрикнем, удивимся и ужаснемся, — потонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, вернем это острое напряжение всех чувств. Вы, Молли, для меня — первая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и горем, вы, Дюрок, — первая твердая черта мужества и достоинства! Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен?» Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия — вот что требовалось теперь мне!

Всему этому — увы! — я тогда не нашел бы слов, но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, придерживая более к прохладному северу, чем к пылкому югу.

— Кто знает?! — сказал Дюрок на ее «не увидим». — Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом принято думать. Все мы возвращаемся на старый след, кроме...

— Кроме умерших, — сказал я глухо и дико.

Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как — хлоп! — она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав: «Вот это я сейчас вам сыграю». Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загредел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед.

— Она устала сегодня, — сказал он, — и едва ли вернется. — Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм. — Отлично, — продолжал Дюрок, — пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя живая душа.

Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить. «Молли! Санди уходит», — сказал Дюрок. Она тотчас вышла и начала упрашивать меня приходить часто и «не вовремя»: «Тогда будет видно, что ты друг». Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здоровье.

— Я постараюсь, — сказала Молли, — только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства? Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью! Отправляйся!

Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли, — так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в «Портовый трибун» — гостиницу, где должен был подождать Дюрока и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом.

III

Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия, разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а сверху вставьте пару гнилых орехов — и вы получите подобие физиономии Гро.

Когда я вошел, со стула из круга этой компании вскочил, почесывая за ухом, матрос и сказал подошедшему с ним товарищу: «А ну его! Опять врет, как выборный кандидат!»

Я смотрел на Гро с приятным чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал холодного пунша, чтобы Гро обратил на меня внимание. Действитель-

но, старый шкипер, как ни был ушлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил:

— Штурман шумит. То-то, поди, денег много!

— Много ли или мало, — сказал я, — не вам их считать, почтеннейший шкипер!

Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании.

— Вот, — сказал он, — вот вам живая копия Санди Пруэля! Так же отвечал, бывало, и вечно дерзил. Смее спросить, — нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?

— Нет, я один, — ответил я, — но в чем дело?

— Очень вы похожи на одного молодца, разрази его гром! Такая неблагодарная скотина! — Гро был пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны. — Я обращался с ним, как отец родной, и, воистину, отогрел змею! Говорят, этот Санди теперь разбогател, как набоб; про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном, сто тысяч банковыми билетами, — в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!

На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повгoreния бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождениях Санди Пруэля. Вот эта история.

Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего оттого, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и вывели труп на мыс Гардена, где и скрыли его в обширных склепах «Золотой цепи». За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда золотых, — но, как видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. Вскорости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал, как живой, отвечать на вопросы и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди, — он долго был известен на полуострове, как мот и пьяница, и был арестован в Зурбагане, но скоро выпущен за большие деньги.

На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение (как странно, даже жутко было мне слушать ее!), вошел Дюрок. Он был в пальто, шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться сызнова. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я ухожу, вскричал:

— Штурман, эй, штурман! Один стакан Гро в память этого свистуна Санди, разорившего своего шкипера!

Я подозвал слугу и, в присутствии Дюрока, с любопытством следившего, как я поступаю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу так, что он отшатнулся, — сказал:

— Гро, а ведь я и есть Санди!

Он мотнул головой, всхлипнул и уставился на меня.

Наступило общее молчание.

— Восемь бутылок, — сказал наконец Гро, машинально шаря в кармане и рассматривая мои колени. — Врешь! — вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли. — А может быть!.. Может быть... — забормотал Гро. — Гм... Санди! Все может быть! Восемь бутылок, буты...

На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн; на другой аллее, повыше, играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению к гостинице, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в Замечательную Страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гардена. Я размышлял о словах Дюрока про Ганувера: «Его ум требовал живой сказки, душа просила покоя». Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова:

— Это я, милый! Я пришла, как обещала! Не грустите теперь!

Рассказы

КАПИТАН ДЮК

I

Рано утром в маленьком огороде, прилегавшем к одному из домиков общины Голубых Братьев, среди зацветающего картофеля, посаженного правильными кустами, появился человек лет сорока, в вязаной безрукавке, морских суконных штанах и трубообразной черной шляпе. В огромном кулаке человека блестела железная лопатка. Подняв глаза к небу и с полным сокрушением сердца пробормотав утреннюю молитву, человек принялся ковырять лопатой вокруг картофельных кустиков, разрыхляя землю. Неумело, но одушевленно тыкая непривычным для него орудием в самые корни картофеля, от чего невидимо крошились под землей на мелкие куски молодые, охаживаемые клубни, человек этот, решив наконец, что для спасения души сделано на сегодня довольно, присел к ограде, заросшей жимолостью и шиповником, и по привычке сунул руку в карман за трубкой. Но, вспомнив, что еще третьего дня трубка сломана им самим, табак рассыпан и дана торжественная клятва избегать всяческих мирских соблазнов, омрачающих душу, — человек с лопаткой горько и укоризненно усмехнулся.

— Так, так, Дюк, — сказал он себе, — далеко тебе еще до просветления, если, не успев хорошенько продрать глаза, тянешься уже к дьявольскому растению. Нет, изнуряйся, постись и смирись, и не смей тебе даже вспоминать, напри-

мер, о мясе. Однако страшно хочется есть. Кок... гм.. хорошо делал соус в котле... — Дюк яростно ткнул лопаткой в землю. — Животная пища греховна, и я чувствую себя теперь значительно лучше, питаюсь вегетарианской кухней. Да! Вот идет старший брат Варнава.

Из-за дома вышел высокий, сухопарый человек с очками на утином носу, прямыми, падающими на воротник рыжими волосами, бритый, как актер, сутулый и длинноногий. Его шляпа была такого же фасона, как и Дюка, с той разницей, что сбоку тульи блестело нечто вроде голубого плюмажа. Варнава носил черный, наглухо застегнутый сюртук, башмаки с толстыми подошвами и черные брюки. Увидев стоящего с лопаткой Дюка, он издали закивал головой, поднял глаза к небу и изобразил ладонями, сложенными вместе, радостное умиление.

— Радуюсь и торжествую! — закричал Варнава пронзительным голосом. — Свет утра приветствует тебя, дорогой брат, за угодным Богу трудом. Ибо сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой».

— Много камней, — пробормотал Дюк, протягивая свою увесистую клешню навстречу узким, извилистым пальцам Варнавы. — Я тут немножко работал, как вы советовали делать мне каждое утро, для очищения помыслов.

— И для укрепления духа. Хвалю тебя, дорогой брат. Ростки Божьей благодати, несомненно, вытеснят постепенно в тебе адову пену и греховность земных желаний. Как ты провел ночь? Смушался твой дух? Садись и поговорим, брат Дюк.

Варнава, расправив кончиками пальцев полы сюртука, осторожно присел на траву. Дюк грузно сел рядом на муравейник. Варнава пристально изучал лицо новичка, его вечно хмурый, крепко сморщенный лоб, под которым блестели маленькие, добродушные, умеющие, когда надо, холодно и грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый

нос, изгрызанные с вечного похмелья, тронутые сединой усы и властное выражение подбородка.

— Что говорить, — печально объяснял Дюк, постукивая лопаткой. — Я, надо полагать, отчаянный грешник. С вечера, как легли спать, долго ворочался на кровати. Не спится; чертовски хотелось курить и... знаете это... когда табаку нет, столько слюны во рту, что не наплюешься. Вот и плевался. Потом наконец уснул. И снится мне, что Куркуль заснул на вахте, да где? — около пролива Кассет, а там, если вы знаете, такие рифы, что бездельника, собственно говоря, мало было бы повесить, но так как он глуп, то я только треснул его по башке линьком. Но этот мерзавец...

— Брат Дюк! — укоризненно вздохнул Варнава. — Кха! Кха!..

Капитан скис и поспешно схватился рукой за рот.

— Еще «Марианну» вспомнил утром, — тихо прошептал он. — Мысленно перещеловал ее всю от рымов до клотиков. Прощай, «Марианна», прощай! Я любил тебя. Если я позабыл переменить кливер, то прости — я загулял с маклером. Не раздражай меня, «Марианна», воспоминаниями. Не смей тебе снится мне! Теперь только я понял, что спасенье души более важное дело, чем торговля рыбой и яблоками... да. Извините меня, брат Варнава.

Выплавав это вслух, с немного, может быть, смешной, но искренней скорбью, капитан Дюк вытащил полосатый платок и громко, решительно высморкался. Варнава положил руку на плечо Дюка.

— Брат мой! — сказал он проникновенно. — Отрешись от бесполезных и вредных мечтаний. Оглянись вокруг себя. Где мир и покой? Здесь! Измученная душа видит вот этих нежных птичек, славящих Бога, бабочек, служащих проявлением истинной мудрости высокого творчества, земные плоды, орошенные потом благочестивых... Над головой — ясное небо, где плывут небесные корабли-облака, и тихий ве-

терок обвеивает твое расстроенное лицо. Сон, молитва, покой, труд. «Марианна» же твоя — символ корысти, зависти, бурь, опьянения и курения, разврата и сквернословия. Не лучше ли, о брат мой, продать этот насыщенный человеческой гордостью корабль, чтобы он не смушал твою близкую к спасению душу, а деньги положить на текущий счет нашей общины, где разумное употребление их принесет тебе вещественную и духовную пользу?

Дюк жалобно улыбнулся.

— Хорошо, — сказал он через силу. — Пропадай все. Пропадать так пропадать!

Варнава с достоинством встал, снисходительно поглядывая на капитана.

— Здесь делается все по доброму желанию братьев. Оставляю тебя, другие ждут моего внимания.

II

В десять часов утра, произведя еще ряд опустошений в картофельном огороде, Дюк удалился к себе, в маленький деревянный дом, одну половину которого — обширную пустую комнату с нарочито грубой деревянной мебелью — Варнава предоставил ему, а в другой продолжал жить сам. Община Голубых Братьев была довольно большой деревней, с порядочным количеством земли и леса. Члены ее жили различно: холостые — группами, женатые — обособленно. Капитан, по мнению Варнавы, как испытуемый, должен был провести срок искуса изолированно; этому помогало еще то, что у Дюка существовалиленьжонки, а деньжонки везде требуют некоторого комфорта.

Подслеповатый, корявый парень появился в дверях, таща с половины Варнавы завтрак Дюку: кружку молока и кусок хлеба. Смирненно скрестив на груди руки, парень удалился,

гримасничая и пяясь задом, а капитан, сердито понюхав молоко, мрачно покосился на хлеб. Пища эта была ему не по вкусу; однако, твердо решившись уйти от грешного мира, капитан наскоро проглотил завтрак и раскрыл Библию. Прежде чем приняться за чтение, капитан стыдливо помечтал о великолепных бифштексах с жареным испанским луком, какие умел божественно делать кок Сигби. Еще вспомнилась ему синяя стеклянная стопка, которую Дюк любовно оглаживал благодарным взглядом, а затем, проведя, для большей вкусоности, рукою по животу и крикнув, медленно осушал. «Какова сила врага рода человеческого!» — подумал Дюк, явственно ощутив во рту призрак крепкого табачного дыма. Покрутив головой, чтобы не думать о запретных вещах, капитан открыл Библию на том месте, где описывается убийство Авеля, прочел, крепко сжал губы и с недоумением остановился, задумавшись.

«Авель ходил без ножа, это ясно, — размышлял он, — иначе он мог бы ударить Каина головой в живот, сшибить и всадить ему нож в бок. Странно также, что Каина не повесили. В общем — неприятная история». Он перевернул полкниги и попал на описание бегства Авессалома. То, что человек запутался волосами в ветвях дерева, сначала рассмешило, а затем рассердило его. «Чиркнул бы ножиком по волосам, — сказал Дюк, — и мог бы удрать. Станный чудак!» Но зато очень понравилось ему поведение Ноя. «Сыновья-то были телята, а старик молодец», — заключил он и тут же понял, что впал в грех, и грустно подпер голову рукой, смотря в окно, за которым висала лента проезжей дороги. В это время из-за подоконника вынырнуло чье-то, смутно знакомое Дюку, испуганное лицо и спряталось.

— Кой черт там глазеет? — закричал капитан.

Он подбежал к окну и, перегнувшись, заглянул вниз.

В крапиве, присев на корточки, притаились двое, подымая вверх умоляющие глаза: повар Сигби и матрос Фук. По-

вар держал меж колен изрядный узелок с чем-то таинственным; Фук же, грустно подперев подбородок ладонями, плачевно смотрел на Дюка. Оба, сильно вспотевшие, пыльные с головы до ног, пришли, по-видимому, пешком.

— Это что такое?! — вскричал капитан. — Откуда вы? Что расселись? Встать!

Фук и Сигби мгновенно вытянулись перед окном, слернув шапки.

— Сигби, — заволновался капитан, — я же сказал, чтобы меня больше не беспокоили. Я оставил вам письмо, вы читали его?

— Да, капитан.

— Все прочли?

— Все, капитан.

— Сколько раз читали?

— Двадцать два раза, капитан, да еще двадцать третий для экипажа «Морского змея»; они пришли в гости послушать.

— Поняли вы это письмо?

— Нет, капитан.

Сигби вздохнул, а Фук вытер замигающие глаза рукавом блузы.

— Как не поняли? — загремел Дюк. — Вы, непроходимые болваны, гнилые буйки, бродяги, — где это письмо? Сказано там или нет, что я желаю спастись?

— Сказано, капитан.

— Ну?

Сигби вытасил из кармана листок и стал читать вслух, выронив загремевший узелок в крапиву:

— «Отныне и во веки веков аминь. Жил я, братцы, плохо и, страшно подумать, был настоящим язычником. Поколачивал я некоторых из вас, хотя до сих пор не знаю, кто из вас стянул новый брезент. Сам же, предаваясь ужасающему развратному поведению, дошел до полного помрачения совести. Посему удаляюсь от мира соблазнов в тихий уголок

брата Варнавы для очищения духа. Прощайте. Сидите на «Марианне» и не смейте брать фрахтов, пока я не сообщу, что делать вам дальше».

Капитан самодовольно улыбнулся — письмо это, составленное с большим трудом, он считал прекрасным образцом красноречивой убедительности.

— Да, — сказал Дюк, вздыхая, — да, возлюбленные братья мои, я встретил достойного человека, который показал мне, как опасно попасть в лапы к дьяволу. Что это бренчит у тебя в узелке, Сигби?

— Для вас это мы захватили, — испуганно прошептал Сигби, — это, капитан... холодный грог, капитан, и... кружка... значит.

— Я вижу, что вы желаете моей гибели, — горько заявил Дюк, — но скорее я вобью вам этот грог в пасть, чем выпью. Так вот, я вышел из трактира, сел на тумбочку и заплакал, сам не знаю зачем. И держал я в руке, сколько — не помню, золота. И просыпал. Вот подходит святой человек и стал много говорить. Мое сердце растаяло от его слов, я решил раскаяться и поехать сюда. Отчего вы не вошли в дверь, черти полосатые?

— Прячут вас, капитан, — сказал долговязый Фук, — все говорят, что такого нет. Еще попался нам этот с бантом на шляпе, которого видел кое-кто с вами третьего дня вечером. Он-то и прогнал нас. Безутешно мы колесили тут, вокруг деревни, а Сигби вас в окошко заметил.

— Нет, все кончено, — хмуро заявил Дюк, — я не ваш, вы не мои.

Фук зарыдал, Сигби громко засопел и надулся. Капитан начал щипать усы, нервно мигая.

— Ну, что на «Марианне»? — отрывисто спросил он.

— Напились все с горя, — сморкаясь, произнес Фук, — третий день пьют, сундуки пропили. Маклер был, выгодный фрахт у него для вас — скоропортящиеся фрукты: ругается на

чем свет стоит. Куркуль удрал совсем, а Бенц спит на вашей койке, в вашей каюте, и говорит, что вы не капитан, а собака.

— Как — собака? — сказал Дюк, бледнея от ярости. — Как — собака? — повторил он, высовываясь из окна к струсившим матросам. — Если я собака, то кто Бенц? А? Кто, спрашиваю я вас? А? Швабра он, последняя швабр-ра! Вот как! Стоило мне уйти, и у вас через два дня чешутся обо мне языки? А может быть, и руки? Сигби, и ты, Фук, убирайтесь вон! Захватите ваш дьявольский узелок. Не ищите меня. Проваливайте. «Марианна» будет скоро мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте!

Дюк закрыл глаза рукой. Хорошенькая «Марианна», как живая, покачивалась перед ним, блестя новыми мачтами. Капитан скрипнул зубами.

— Обязательно вычистить и проветрить трюмы, — сказал он, вздыхая, — покрасить клюзы и камбуз да как следует прибрать в подшкинерской. Я знаю, у вас там такой порядок, что не отыщешь и фонаря. Потом отправьте «Марианну» в док и осмотрите ее. Палубу, если нужно, поконопатить. Бенцу скажите, что я, смиренный брат Дюк, прощаю его. И помните, что вино — гибель, опасайтесь его, дети мои. Прощайте!

— Что ж, капитан, — сказал ошарашенный всем виденным и слышанным Сигби, — вы, значит, переходите, так сказать, в другое ведомство? Ладно, пропадай все. Фук, идем. Скажи, Фук, спасибо этому капитану.

— За что? — невинно осведомился капитан.

— За то, что бросили нас. Это после того, что я у вас служил пять лет, а другие и больше. Ничего, спасибо. Фук, идем.

Фук подхватил узелок, и оба, не оглядываясь, удалились решительными шагами в ближайший лесок — выпить и закусить. Едва они скрылись, как Варнава появился в дверях комнаты, с глазами, поднятыми вверх, и руками, торжественно протянутыми вперед, к смущенному капитану.

— Я слышал все, о брат мой, — пропел он речитативом, — и радуюсь одержанной вами над собой победе.

— Да, я продам «Марианну», — покорно заявил Дюк, — она мешает мне, парни приходят с жалобами.

— Укрепись и дерзай, — сказал Варнава.

— Двадцать узлов в полном ветре! — вздохнул Дюк.

— Что вы сказали? — не расслышал Варнава.

— Я говорю, что бойкая была очень она, «Марианна», и руля слушалась хорошо. Да, да. И четыреста тонн.

III

Матросы сели на холмике, заросшем вереском и волчьими ягодами. Прохладная тень кустов дрожала на их унылых и раздраженных лицах. Фук, более хладнокровный, человек факта, далек был от мысли предпринимать какие-либо шаги после сказанного капитаном; но саркастический, нервный Сигби не так легко успокаивался, мирясь с действительностью. Развязывая отвергнутый узелок, он не переставал бранить Голубых Братьев и называть капитана приличными случаю именами, вроде дохлой морской свиньи, сумасшедшего кисляя и т. д.

— Вот пирог с дивером, — сказал Сигби. — Хороший пирожок, честное слово. Что за корочка! Прямо как позолоченная. А вот окорочок, Фук; раз капитан брезгует нашим угощением, съедим сами. Грог согрелся, но мы его похолодим в соседнем ручье. Да, Фук, настали черные дни.

— Жаль, хороший был капитан, — сказал Фук. — Право, капитанша был в полной форме. Тяжеловат на руку, да; и насчет словесности не стеснялся, однако лишнего ничего делать не заставлял.

— Не то, что на «Сатурне» или «Клавдии», — вставил Сигби, — там, если работы нет, обязательно ковыряй что-нибудь. Хоть пеньку трепли.

- Свыклись с ним.
- Сухари свежие, мясо свежее.
- Больного не рассчитает.
- Да что говорить!
- Ну, поедим!

Начав с пирога, моряки кончили окороком и глоданием кости. Наконец, швырнув окорочную кость в кусты, они принялись за охлажденный в ключе грог. Когда большой глиняный кувшин стал легким, а Фук и Сигби тяжелыми, но веселыми, повар сказал:

— Друг Фук, не верится что-то мне, однако, чтобы такой моряк, как наш капитан, изменил своей родине. Свыкся он с морем. Оно кормило его, кормило нас, кормит и будет кормить много людей. У капитана ум за разум зашел. Вышибем его от Голубых Братьев.

— Чего из них вышибать, — процедил Фук, — когда разума нет.

— Не разума, а капитана.

— Трудновато, дорогой кок, думаю я.

— Нет, — возразил Сигби, — сам я действительно не знаю, как поступить, и не решился бы ничего придумать. Но знаешь что? Спросим старого Бильдера.

— Вот тебе на! — вздохнул Фук. — Чем здесь поможет Бильдер?

— А вот! Он в этих делах собаку съел. Попутайся-ка, мой милый, семьдесят лет по морям — так будешь знать все. Он, — Сигби сделал таинственные глаза, — он, Бильдер, был тоже пиратом... в молодости, да, грешил и... тсс!.. — Сигби перекрестился. — Он плавал на «Голландской Летучке».

— Врешь! — вздрогнув, сказал Фук.

— Упади мне эта сосна на голову, если я вру. Я сам видел на плече у него красное клеймо, которое, говорят, ставят духи Летучего Голландца, а духи эти без головы и, значит, без глаз, а поэтому сами не могут стоять у руля, и вот нужен им бывает всегда рулевой из нашего брата.

— Н-да... гм... тпру... постой... Бильдер... Так это, значит, в «Кладбище Кораблей»?!

— Вот, да, сейчас за доками.

— И то правда, — ободрился Фук. — Может, он и уговорит его не продавать «Марианну». Жаль, суденышко-то очень замечательное.

— Да обидно ведь, — со слезами в голосе сказал Сигби, — свой ведь он, Дюк этот несчастный, свой, товарищ, бестия морская. Как без него будем, куда пойдём? На баржу, что ли? Теперь разгар навигации, на всех судах все комплекты полны; или ты, может быть, не прочь юнгой трепаться?

— Я? Юнгой?

— Так чего там. Тронемся к старцу Бильдеру. Заплачем, в ноги упадем: помоги, старый разбойник!

— Идем, старик!

— Идем, старина!

И оба они, здоровые, в цвете сил, люди, нежно называющие друг друга «стариками», обнявшись, покинули холм, затянув фальшивыми, но одушевленными голосами:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать.
Позвольте вас на саллинг взять,
Ах, вас на саллинг взять
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать...

IV

Бильдер, или Морской Тряпичник, как называла его вся гавань, от последнего чистильщика сапог до элегантных командиров военных судов, прочно осел в Зурбагане с незапамятных времен и поселился в песчаной, заброшенной части

гавани, известной под именем «Кладбище Кораблей». То было нечто вроде свалочного места для износившихся, разбитых, купленных на слом парусников, барж, лодок, баркасов и пароходов, преимущественно буксирных. Эти печальные останки когда-то отважных и бурных путешествий занимали площадь не менее двух квадратных верст. В разошедшихся кормах, в дырявых трюмах, где свободно гулял ветер и плескалась дождевая вода, в жалобно скрипящих от ветхости капитанских рубках ютились по ночам парии гавани. Странные процветали здесь занятия и промыслы... Бильдер избрал ремесло морского тряпичника. На маленькой парусной лодке с небольшой кошкой, привязанной к длинному шкерту, бороздил он целыми днями Зурбаганскую гавань, выуживая кошкой со дна отбросы, затем, сортируя их, продавал скупщикам. Кроме того, он играл роль оракула, предсказывая погоду, счастливые дни для отплытия, отыскивал удачно краденое и уличал вора с помощью решета. Контрабандисты молились на него: Бильдер разыскивал им секретные уголки для высадок и погрузок. При всех этих частных заработках был он, однако, беден, как церковная крыса.

Прозрачный день гас, и солнце зарывалось в холмы, когда Фук и Сигби, с присохшими от жары языками, вступили на вязкий песок «Кладбища Кораблей». Тишина, глубокая тишина прошлого окружала их. Вечерний гром гавани едва доносился сюда слабым, напоминающим звон в ушах, бесильным эхо: изредка лишь пронзительный вопль сирены отходящего парохода нагонял пешеходов или случайно налетевший мартын плакал и хохотал над сломанными мачтами мертвцов, пока вечная прожорливость и аппетит к рыбе не тянули его обратно в живую поверхность волн. Среди остовов барж и бригов, напоминающих оголенными тимберсами чудовищные скелеты рыб, выглядывала изредка ползасыпанная песком корма с надписью, тревожной для сердца, с облупленными и опавшими буквами. «Надеж...» — про-

чел Сигби в одном месте, в другом — «Победитель», еще дальше «Ураган», «Смелый»... Всеюду валялись доски, куски обшивки, канатов, трупы собак и кошек. Проходы между полусгнивших судов напоминали своеобразные улицы, без стен, с одними лишь заворотами и углами. Бесформенные длинные тени скрещивались на белом песке.

— Как будто здесь, — сказал Сигби, останавливаясь и осматриваясь. — Не видно дымка из дворца Бильдера, а без дымка что-то я позабыл. Тут как в лесу... Эй!.. Нет ли кого из жителей? Эй! — последние слова не прокричал даже, а проорал, и не без успеха: через пять-шесть шагов из-под опрокинутой расщепленной лодки высунулась лохматая голова, с печатью приятных размышлений в лице, и бородой, содержимой весьма беспечно.

— Это вы кричали? — ласково осведомилась голова.

— Я, — сказал Сигби, — ищу этого колдуна Бильдера, забыл, где его особняк.

— Хороший голос, — заявила голова, покачиваясь, — голос гулкий, лошадиный такой. В лодке у меня загудело, как в бочке.

Сигби вздумал обидеться и набирал уже воздух, чтобы ответить с достойной его самолюбия едкостью, но Фук дернул повара за рукав.

— Ты разбудил человека, Сигби, — сказал он, — посмотри, сколько у него в волосах соломы, пуху и шенок; не дай Бог тебе проснуться под свой собственный окрик.

Затем, обращаясь к голове, матрос продолжал:

— Укажите, милейший, нам, если знаете, лачугу Бильдера, а так как ничто на свете даром не делается, возьмите на память эту регалию. — И он бросил к подбородку головы медную монету. Тотчас же из-под лодки высунулась рука и прикрыла подарок.

— Идите... по направлению кия этой лодки, под которой я лежу, — сказала голова, — а потом встретите овраг, через него перекинуто бревно...

— Ага! Перейти через овраг, — кивнул Фук.

— Пожалуй, если вы любите возвращаться. Как вы дошли до оврага, не переходя его, берите влево и идите по берегу. Там заметите высокий песчаный гребень, за ним-то и живет старик.

Приятели, следуя указаниям головы, вскоре подошли к песчаному гребню, и Сигби, узнав местность, никак не мог уяснить себе, почему сам не отыскал сразу всем известной площадки. Решив наконец, что у него «голова была не в порядке» из-за «этого ренегата Дюка», повар повел матроса к низкой двери лачуги, носившей поэтическое название: «Дворец Бильдера, Короля Морских Тряпичников», что возвещала надпись, сделанная женой пробкой на лоскутке парусины, прибитом под крышей.

Оригинальное здание это сильно напоминало постройки нынешних футуристов как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении. Главный корпус «дворца», за исключением одной стены, именно той, где была дверь, составляла ровно отпиленная корма старого галиота, корма без палубы, почему Бильдер, не в силах будучи перевернуть корму килем вверх, устроил еще род куполообразной крыши наподобие куч термитовых муравьев, так что все в целом грубо напоминало откушенное с одной стороны яблоко. Весь эффект здания представляла искусственно выведенная стена; в состав ее, по разряду материалов, входили:

- 1) доски, обрубки бревен, ивовые корзинки, пустые ящики;
- 2) шкворни, сломанный умывальник, ведра, консервные жестянки;
- 3) битый фаянс, битое стекло, пустые бутылки;
- 4) кости и кирпичи.

Все это, добросовестно скрепленное палками, землей и краденым цементом, образовало стену, к которой можно было прислониться с опасностью для костюма и жизни. Лишь аккуратно прорезанная низкая дощатая дверь да единственное

окошко в противоположной стене — настоящий круглый иллюминатор — указывали на некоторую архитектурную притязательность.

Сигби толкнул дверь и, согнувшись, вошел. Фук за ним. Бильдер сидел на скамейке перед внушительной кучей хлама. Небольшая железная печка, охапка морской травы, служившей постелью, скамейка и таинственный деревянный бочонок с краном — таково было убранство дворца, за исключением кучи, к которой Бильдер относился сосредоточенно, не обращая внимания на вошедших. К великому удивлению Фука, ожидавшего увидеть полураздетого, оборванного старика, он убедился, что Бильдер для своих лет еще большой франт: суконная фуфайка его, подхваченная у брюк красным поясом, была чиста и прочна, а парусиновые брюки, запачканные смолой, были совсем новые. На шее Бильдера пестрело даже нечто вроде цветного платка, скрученного морским узлом. Под шапкой седых волос, переходивших в такие же, круто нависшие брови и шетинистые баки, ворочались колючие глаза-щели, освещаая высушенное, жесткое и угрюмое лицо застывшей усмешкой.

— Здр... здравствуйте, — нерешительно сказал Сигби.

— Угу! — ответил Бильдер, посмотрев на него сбоку взглядом человека, смотрящего через очки. — Кх! гум!

Он вытащил из кучи рваную женскую галошу и бросил ее в разряд более дорогих предметов.

— Помоги, Бильдер! — возопил Сигби, в то время как Фук смотрел поочередно то в рот товарищу, то на таинственный бочонок в углу. — Все ты знаешь, везде бывал и всюду... как это говорится... съел собаку.

— Ближе к ветру! — прошамкал Бильдер, отправляя коровий череп в коллекцию костяного товара.

Сигби не заставил себя ждать. Оттягивая рукой душивший его разгоряченную шею воротник блузы, повар начал:

— Сбежал капитан от нас. Ушел к сектантам, к Братьям Голубым этим, чтобы позеленели они! Не хочу и не хочу

жить, говорит, с вами, язычниками, и сам я язычник. Хочу спастись. Мяса не ест, не пьет и не курит и судно хочет продать. До чего же обидно это, старик! Ну, что мы ему сделали? Чем виноваты мы, что только на палубе кусок можем свой заработать?.. Ну, рассуди, Бильдер, хорошо ли стало теперь: пошло воровство, драки; водку — не то что пьют, а умываются волкой; «Марианна» загажена; ни днем, ни ночью вахты никто не хочет держать. Ему до своей души дела много, а до нашей — тьфу, тьфу! Ну уж и поискать такого в нашем деле мастера, разумеется, кроме тебя, Бильдер, потому что, как говорят...

Сигби вспомнил Летучего Голландца и, струсив, остановился. Фук побледнел: мгновенно фантазия нарисовала ему дьявольский корабль-призрак с Бильдером у штурвала.

— Угу! — промычал Бильдер, рассматривая обломок свинцовой трубки, железное кольцо и старый веревочный коврик и, по-видимому, сравнивая ценность этих предметов. Через мгновение все они, как буквы из руки опытного наборщика, гремя, полетели к своим местам.

— Помоги, Бильдер! — молитвенно закончил взволнованный повар.

— Чего вам стоит! — подхватил Фук.

Наступило молчание. Глаза Бильдера светились лукаво и тихо. По-прежнему он смотрел в кучу и сортировал ее, но один раз ошибся, бросив тряпку к костям, что указывало на некоторую задумчивость.

— Как зовут? — хрипнул беззубый рот.

— Сигби, кок Сигби.

— Не тебя; того дурака.

— Дюк.

— Сколько лет?

— Тридцать девять.

— Судно его?

— Его, собственное.

- Давно?
- Десять лет.
- Моет, трет, чистит?
- Как любимую кошку.

— Скажите ему, — Бильдер повернулся на скамейке, и просители со страхом заглянули в его острые, блестящие глаза-точки, смеющиеся железным, спокойным смехом дряхлого прошлого. — скажите ему, шенку, что я, Бильдер, которого он знает двадцать пять лет, утверждаю: никогда в жизни капитан Дюк не осмелится пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Проваливайте!

Сказав это, старик подошел к таинственному бочонку, нацелил в кружку весьма подозрительно-ароматической жидкости и бережно проглотил ее. Не зная — недоумевать или благодарить, плакать или плясать, повар вышел спиной, надев шапку за дверь. Тотчас же вывалился и Фук.

Фук не понимал решительно ничего, но повар был человек с более тонким соображением; когда оба, усталые и пыльные, пришли наконец к харчевне «Трезвого странника», он переварил смысл сказанного Бильдером и хоть с некоторым сомнением, но все-таки одобрил его.

— Фук, — сказал Сигби, — напишем, что ли, этому Дюку. Пускай проглотит пилюлю от Бильдера.

- Обидится, — возразил Фук.
- А нам что. Ушел, так терпи.

Сигби потребовал вина, бумаги и чернил и вывел безграмотно, но от чистого сердца следующее:

«Никогда Дюк не осмелится пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер. Все смеются.

Экипаж «Марианны».

Хмельные поплелись товарищи на корабль. Гавань спала. От фонарей судов, отражений их и звезд в небе весь мир казался бархатной пропастью, полной огней вверху и внизу, всюду, куда хватал глаз. У мола, поскрипывая, толкались на зыби черные шлюпки, и черная вода под ними сверкала искрами. У почтового ящика Сигби остановился, опустил письмо и вздохнул.

— Ясно, как пистолет и его бабушка, — проговорил он, нежно целуя ящик, — что Дюк изорвет тебя, сердечное письмоце, в мелкие клочки, но все-таки! все-таки! Дюк... Не забывай, кто ты!

V

Вечером, в воскресенье, после утомительного, бездельного дня, пения духовных стихов и проповеди Варнавы, избравшего на этот раз тему о нестяжательстве, капитан Дюк сидел у себя, погруженный то в благочестивые, то в греховные размышления. Скука томила его, и раздражение, вызванное вчерашним неудачным уроком паханья, когда, как казалось ему, даже лошадь укоризненно поглядывала на неловкого капитана, взявшегося не за свое дело, — улеглось не вполне, заставляя говорить самому себе горькие вещи.

«Плуг, — размышлял капитан, — плуг... Ведь не мудрость же особенная какая в нем... но зачем лошадь приседает?» Говоря так, он не помнил, что круто нажимал лемех, отчего даже *три* лошади не могли бы двинуть его с места. Затем он имел еще скверную морскую привычку — всегда тянуть на себя и по рассеянности проделывал это довольно часто, заставляя кобылу танцевать взад и вперед. Поле, вспаханное до конца таким способом, напоминало бы поверхность луны. Кроме этой весьма крупной для огромного самолюбия Дюка неприятности, сегодня он резко поспорил с школьным учите-

лем Клоски. Клоски прочел в газете о гибели гигантского парохода «Корнелиус» и, несмотря на насмешливое восклицание Дюка: «Ага!», стал утверждать, что будущее в морском деле принадлежит именно этим «плотам», как презрительно называл «Корнелиуса» Дюк, а не первобытным «ветряным мельницам», как определил парусные суда Клоски. Ужаленный, Дюк встал и заявил, что, как бы то ни было, никогда не взял бы он Клоски пассажиром к себе, на борт «Марианны». На это учитель возразил, что он моря не любит и плавать по нему не собирается. Крепя сердце Дюк спросил: «А любите вы маленькие, грязные лужи?» — и, не дожидаясь ответа, вышел с сильно бьющимся сердцем и тягостным сознанием обиды, нанесенной своему ближнему.

После этих воспоминаний Дюк перешел к обиженной «ветряной мельнице», «Марианне». Пустая, высоко подняв грузовую ватерлинию над синей водой, покачивается она на рейде так тяжело, так жалостно, как живое, вздыхающее всей грустью существо, и в кренких ряях ее посвистывает ненужный ветер.

— Ах, — сказал капитан, — что же это я растрavляю себя? Надо выйти, пройтись! — Прикрутив лампу, он открыл дверь и нырнул в глухую, лающую собаками тьму. Поставив немного посреди спящей улицы, капитан завернул вправо и, поравнявшись с окном Варнавы, увидел, что оно, распахнутое настежь, горит полным внутренним светом. «Читает или пишет», — подумал Дюк, заглядывая в глубину помещения, но, к изумлению своему, заметил, что Варнава производит некую странную манипуляцию. Стоя перед столом, на котором, подогреваемый спиртовкой, бурлил, кипя, чайник, брат Варнава осторожно проводил по клубам пара небольшим запечатанным конвертом, время от времени пробуя поддеть заклепку столовым ножом.

Как ни был наивен Дюк во многих вещах, однако же занятие Варнавы являлось весьма прозрачным. «Вот как, —

оторопев, прошептал капитан, приседая под окном до высоты шеи. — проверку почты производишь, так, что ли?» На миг стало грустно ему видеть от уважаемой личности неблаговидный поступок, но, опасаясь судить преждевременно, решил он подождать, что будет делать Варнава дальше. «Может быть, — размышлял, затаив дыхание, Дюк, — он не расклеивает, а заклеивает». Тут произошло нечто, опровергнувшее эту надежду. Варнава, водя письмом над горячим паром кастрюльки, уронил пакет в воду, но, пытаясь схватить его на лету, опрокинул спиртовку вместе с посудой. Гремя, полетело все на пол; сверкнул, шипя, залитый водой синий огонь и потух. Отчаянно всплеснув руками, Варнава, проворно выхватил из лужи мокрое письмо, затем, решив, что адресату возвращать его в таком виде все равно странно, поспешно разорвал конверт, бегло просмотрел текст и, сунув листок на подоконник, почти к самому носу быстро нагнувшего голову капитана, побежал в коридор за тряпкой.

— Ну да, — сказал капитан, краснея, как мальчик, — украл письмо брат Варнава! — Осторожно выглянув, увидел он, что в комнате никого нет. и отчасти из любопытства, а более из любви ко всему таинственному нагнулся к лежавшему перед ним листку, рассуждая весьма резонно, что письмо, потерпевшее столько манипуляций, стоит прочесть. И вот, сжав кулаки, прочел он, что, высунив от усердия язык, писал Сигби.

Он прочел, повернулся спиной к окну и медленно, на цыпочках, словно проходя мимо спящих, пошел от окна в сторону огородов. Было так темно, что капитан не видел собственных ног, но он знал, что его щеки, шея и нос пунцовые мака. Несомненное шпионство Варнавы мало интересовало его. И Варнава, и Голубые Братья, и учитель Клоски, и неуменье пахать — все было слизано в этот момент той смертельной обидой, которую нанес ему мир в лице Морского Тряпичника. Кто угодно мог бы сказать это, только не он. Остальные могут говорить что угодно. Но Бильдер, которому двадцать лет назад

на палубе «Веги», где тот служил капитаном, смотрел он в глаза преданно и трусливо, как юный шенок смотрит в опытные глаза матери; Бильдер, каждое указание которого он принимал к сердцу ближе, чем поцелуй невесты; Бильдер, знающий, что он, Дюк, два раза терпел крушение, сходя на шлюпку последним; *тот* Бильдер заочно, а не в глаза высмеял его на потеху всей гавани. Да! Дюк стиснул руками голову и опустился на землю, к изгороди. Прямая душа его не подозревала ни умысла, ни интриги. Правда, Кассет очень опасен, и немногие, ради сокращения пути, рискуют идти им, дабы не огибать Вард; но он, Дюк, разве из трусости избегал «Безумный пролив»? Менее всего так. Осторожность никогда не мешает, да и нужды прямой не было; но если пошло на то...

— Постой, постой, Дюк, не горячись, — сказал капитан, чувствуя, что потеет от скорби. — Кассет. Слева гора, маяк, у выхода буруны и левее плоская, отмеченная на всех картах мель; фарватер южнее, и форма его напоминает гитару; в перехвате поперек две линии рифов; отлив на девять футов, после него можно стоять на камнях по шиколотку. Сильное косое течение относит на мель, значит, выходя из-за Варда, забирать против течения к берегу и между рифами — так... — Капитан описал в темноте пальцев латинское S. — Затем у выхода вдоль бурунов на норд-норд-ост и у маяка на полкабельтова к берегу — чик и готово!

«Разумеется, — горестно продолжал размышлять Дюк, — все смотрят теперь на меня, как на отпетого. Я для них мертв. А о мертвом можно болтать что угодно и кому угодно. Даже Варнава знает теперь — негодный шпион! — на какую мелкую монету разменивают капитана Дюка». Тяжело вздыхая, ловил он себя на укорах совести, твердившей ему, что совершено за несколько минут множество смертельных грехов: поддался гневу и гордости, впал в сомнение, выругал Варнаву шпионом... Но уже не было сил бороться с властным призывом моря, принесшим ему корявым, напоминающим ветреную зыбь, почерком

Сигби любовный, нежный упрек. Торжественно помолчав в душе, капитан выпрямился во весь рост, отчаянно махнул рукой, прощаясь с праведной жизнью, и, далеко швырнув форменный цилиндр Голубых Братьев, встал грешными коленями на грязную землю, сыном которой был.

— Боже, прости Дюка! — бормотал старый ребенок, сморкаясь в фуляровый платок. — Пропать, конечно, мне суждено, и ничего с этим уже не поделаешь. Если б не Кассет — честное слово, я продал бы «Марианну» за полцены. Весьма досадно. Пойду к моим ребятишкам — пропадать, так уж вместе.

Встав и уже петушась, как в ясный день на палубе после восьмичасовой склянки, когда горло кричит само собой, невинно и беспредметно, выражая этим полноту жизни, — Дюк перелез изгородь, промаршировал по огурцам и капусте и, одолев второй, более высокий забор, ударился по дороге к Зурбагану, жадно дыша всей грудью, — прямой дорогой, как выразился он немного спустя сам, — в ад.

VI

Стихи о «птичке, ходящей весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий», смело можно отнести к семи матросам «Марианны», которые на восходе солнца, после бессонной ночи, расположились на юте, с изрядно помятыми лицами, предаваясь каждый занятию, более отвечающему его наклонностям. Легкомысленный Бенц, перегнувшись за борт, лукаво беседовал с остановившейся на моле хорошенькой прачкой; Сигби, проклятая жизнь, гремел на кухне кастрюлями, швыряя в сердцах ложки и ножи; Фук меланхолично чинил рваную шапку, старательно мусоля не только нитку, но и ушко огромной иглы, попасть в которое представлялось ему, однако же, делом весьма почтенным и славным; а Мануэль, Крисс,

Тромке и боцман Бангок, сидя на задраенном трюме, играли попарно в шестьдесят шесть.

Внезапно сильно, как под слоном, закрипели сходни, и на палубу под низкими лучами солнца вползла тень, а за ней, с измученным от дум и ходьбы лицом, без шапки, твердо ступая трезвыми, как стекло, ногами, вырос и остановился у штирборта капитан Дюк. Он медленно исподлобья осмотрел палубу, крикнул, вытер ладонью пот, и неуловимая, стыдливая тень улыбки дрогнула в его каменных чертах, пропав мгновенно, как случайная складка паруса в полном ветре.

Бенц прынул от борта с быстротой спущенного курка. Девушка, стоявшая внизу, раскрыла от изумления маленький, детский рот при виде столь загадочного исчезновения кавалера. Сигби, обернувшись на раскрытую дверь кухни, пролил суп, сдернул шапку, надел ее и опять сдернул. Фук с испуга сразу судорожно попал ниткой в ушко; но тут же забыл о своем подвиге и вскочил. Игроки замерли на ногах. А «Марианна» покачивалась, и в стройных спаснях ее гудел *нужный* ветер.

Капитан молчал, молчали матросы. Дюк стоял на своем месте, и вот медленно, как бы не веря глазам, команда подошла к капитану, став кругом. «Как будто ничего не было», — думал Дюк, стараясь определить себе линию поведения. Спокойно поочередно встретился он глазами с каждым матросом, зорко следя, не блеснет ли затаенная в углу губ усмешка, не дрогнет ли самодовольной гримасой лицо боцмана, не пустит ли слезу Сигби. Но с обычной радушной готовностью смотрели на своего капитана деликатные, понимающие его состояние моряки, и только в самой глубине глаз их искрилось человеческое тепло.

— Что ты думаешь о ветре, Бангок? — сказал Дюк.

— Хороший ветер, господин капитан, дай Бог всякого здоровья такому ветру: зюйд-ост на две недели.

— Бенц, принеси-ка... из *своей* каюты *мою* белую шапку!
Бенц, струсив, исчез.

— Поднять якорь! — закричал капитан, чувствуя себя дома, — вы, пьяницы, неряхи, бездельники! Почему шлюпка спущена? Поднять немедленно! Закрепить ванты! Убрать сходни! Ставь паруса! «Марианна» пойдет без груза в Алан и вернется — слышите вы, трусы? — с полным грузом через Кассет.

Он успокоился и прибавил:

— Я вам покажу Бильдера!

1912 г.

ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ

I

Пока обитатели Каптервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на срезе которых могли бы свободно, болтая пятками, усесться и шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд, — самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.

Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надписями: «Школа», «Гостиница», «Тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной струей, как пленная вода дренажной трубы, — начались происшествия. Эру происшествий открыл классически скупой Гласим, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, оставшись лишь в том, что подлежит стирке.

Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая, богато одетая женщина; у нее были великоленные.

новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, изведавших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта, было гнусное, недостойное порядочного человека, похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор, вечером, когда в пыльной перспективе освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.

Достоверно одно, что за неделю перед этим на каком-то балу Гоан долго и тихо говорил с девушкой. Наблюдавшие за ними видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе. «Я никого не люблю, Гоан, верьте мне», — сказала девушка. Женщина, слышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня; она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоана, мчась у лесной опушки, оступилась на промоине и сломала ногу; похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления.

Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придавленного лошадью Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Огромные кровоподтеки покрывали лицо Го-

ана, он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то, похожее на слова.

Неусовершенствованное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гоана жизни, привлекло его тем не менее к ответственности за тяжкое оскорбление Кроков и девушки. После долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вбили деревянный столб и привязали к нему Гоана, скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убираться подобру-поздорову куда угодно.

Гоан дал проделать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал. Запевалы Кантервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам.

Стемнело. Гоан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе, он не чувствовал ни стыда, ни бешенства; опустошенный, он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гоан скоро устал; тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое, в эти несколько счастливых минут, билось на его груди, запрокинутую голову девушки и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди расстегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки; веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день!

Гоан стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все — сон, откидывал голову и, стучаясь затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гоана и медленнее затихали у перекрестка. В окнах погасли огни, неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гоану, и наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос; жилы висков нали-

лись кровью, отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гоана; застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дэзи с широко раскрытыми глазами остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении.

— И вы... посмотреть, — тихо сказал Гоан. — Уйдите, простите!

— Я сейчас и уйду, — произнесла торопливым шепотом девушка. — Но вы не зашишались, зачем вы допустили все это?

— Ах! — сказал Гоан. — Слова сожаления. Но поздно, Дэзи. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите. Нет, не уходите... или уйдите, пожалуй, это самое лучшее.

— Мне ужасно жаль вас. — Она протянула руку, погладила растрепанные волосы Гоана быстрым материнским движением. — Ну что вы, не плачьте. Вы... или нет, я уйду, увидят.

Она отступила в тьму, и более ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гоан глотал падающие из немигающих глаз крупные соленые капли; от них было тепло щекам и душе.

В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гоана по уху рикошетом и шлепнулся к ногам похитителя.

— Для вас, Дэзи, — сказал Гоан, — только для вас.

II

Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гоана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Брат Дэзи, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку.

— Велено отпустить, — пробормотал он, откашливаясь. — Так смотри... не шляйся в здешних местах.

Гоан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно расступилась.

Через час на дверях небольшого гоановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен — все это указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как Гоан на второй своей лошади, белой с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал задворками к скошенному Крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников.

Гоан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на знакомое окно Дэзи. Натягивая поводья, он с трудом приподымал отекающую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; там, снизу, встретилось с ним взглядом опухшее, темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком, — земля большая.

На повороте к горам, где за синей далью чаши шла дорога к большому портовому городу, Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле. Гоан остановился, и, задыхаясь, его нагнала Дэзи.

Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гоана развязало ее язык. Смушаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэзи сказала:

— Гоан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все, распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже, что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне.

Гоан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света.

— Отец оскорбил меня, — продолжала Дэзи. — Он говорит, что все это была лишь комедия и я греховна. Но вы знаете, что это неправда. И вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злобы и оскорблений.

— Милая, — сказал Гоан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица, — мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами... а женщины — за то, что вам оказали предпочтение. Люди ненавидят любовь. Не приближайтесь ко мне. Дэзи: клянусь — я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!

Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая — давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река.

Они жили долго и умерли в один день.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД

I

Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного лыжа, дающего миллионы питей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, состояло из тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциаций. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное является в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изошрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и

неверном порядке, в относительном равновесии весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал, наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, этаким смешливым субъектом, со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями.

Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слезоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка», — говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как, спустя недолгое время, я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений.

Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформности ее электризующих прикосновений, — тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме чувств, воспринимающих мир в виде, как сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатленье на расстоянии — особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая, в силу условия века, явлением заурядным. Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное, — некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются, по преимуществу, меж близкими или много ду-

мающими друг о друге людьми. Примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простираться на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы, раз впечатление на расстоянии установлено вообще, — размеры расстояния, как такового, отпадают по существу вопроса; иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы это признать) агенты *малоисследованные*, — расстояние исчезает.

И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчелы в улье слышат гул роя, но это — вне свидетельских показаний, и я, например, не мог спросить у населения Тонкина, не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-единственной, непохожей на остальные, минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изощренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекли стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы. Я встретил ее в Кассете, ее родине, в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал об ее сердце

больше, чем обо всем остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть явилась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом, уже негодным и узким — любовью, нет; радостное жадное внимание — вот настоящее имя свету, зажженному Визи. Свет этот, в красном аду сознания, блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно, свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на шегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил — не я ли Галиен Марк. Голос его звучал сухо и подозрительно. Я сказал: «Да».

— А я — Гуктас! — громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки.

Я видел, что этот человек хочет ссоры, и знал почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, избличающая деятельность партии Осеннего Месяца. Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье.

— Теперь я вас накажу. — Он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами. — Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить!

Он замахнулся, но я схватил его за мясницкую руку и погнул ее вниз, смотря прямо в прыгающие глаза противника. Гуктас, задышавшись, вырвался и отскочил, пошатнувшись.

— Ну, — сказал он, — так как?

— Да так!

— Где и когда?

— По прибытии в Херам.

— Я буду вас караулить, — заявил Гуктас.

— Караульте, я ни при чем. — И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами. Дикое, ярмарочное любопытство прочел я во многих холеных и тонких лицах: пахло убийством.

Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда и ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности, опасной ее спокойствию. Я не был возбужден, по крайней мере наружно, не суетился и владел голосом, как безупречный артист. Я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора. И все-таки немного спустя я услышал ее глухой, сердечный голос:

— Что случилось с тобой?

Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный оттенок взгляда, рассеянное движение рук, напряженные паузы или еще что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твердо лгать. «Не понимаю, — сказал я, — почему «случилось»? и «что»?» Затем я продолжал разговор, спрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени в воде синих озер, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную, живую белизну рук, — но думал: «Нет, не в последний», — и простота этого утешения закрывала будущее.

— Завтра утром мы будем в Хераме, — сказала перед сном Визи, — и я, не знаю почему, в тревоге; все кажется мне неверным и шатким. — Она рассмеялась. — Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я.

— Я не хочу жизнерадостной, простой девушки, — сказал я, — поэтому ты усни. Скоро я лягу, как только придумаю заглавие статье о процессиях, которые ненавижу.

Когда Визи уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей, от меня, сидящего здесь же рядом, и начал его сло-

вом «Прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти.

Но — о благодетельная сила вековой аллегории — смерть явилась передо мной в картинно нестрашном виде: скелетом, танцующим с длинной косой в руках, и с такой старой, знакомой гримасой черепа, что я громко зевнул. Мое пробуждение, несмотря на это, было тревожно-резким. Я вскочил с полным сознанием предстоящего, как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок — в иллюминаторе мелькал берег Херама; солнце билось в стекло, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи.

Она не проснулась. Оставив на столе записку: «Скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу», — поднялся на яркую палубу, где у сходни встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланялись со мной, я же попросил двух, наиболее понравившихся мне лицом, пассажиров быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в фэзтон, и мы направились к роше Заката, по ту сторону города. Противник мой сжал впереди, изредка оборачиваясь; глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы.

Утро явилось в тот день отменно красивым. Стянув к небу от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдали, над воздушной синевой гор, в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежды земли. От белых камней в желтой пыли дороги лежали темно-синие тени, палый лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишневого, устилал блистающую росой траву. Черные стволы, унавшие над зеркалом луж, давали отражение удивительной чистоты. Пышно грустили сверкающие, подобно иконостасам, рошчи, и голубой взлет ясного неба казался мировым навеки.

Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший, однако, жадности зрительного любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились хаотическим водопадом, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные *точки зрения*, — из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда, остановить их борьбу, как всегда, не мог направить сознание к какой бы то ни было несложной величине; против воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова: «Убийство» и «Небо». В несчастной голове моей воистину заседал призрачный, близкий парламент, истязая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под ребрами, я спросил себя: «Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень, очень устал...» — но не почувствовал возмущения.

Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я, в уровень с глазом, дорогой, тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка, наверняка. «Раз, два, три!» — крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову. Из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания.

II

Когда я пришел в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы (Визи не любила электричества) придвинутое к постели кресло, а в нем заснувшую полураздетую женщину; ее лицо показалось мне знакомым, и, застонав от резкой головной боли, я приподнялся на локте, чтоб лучше рассмотреть ту, в которой с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких, пока что, соображений о причинах метаморфозы, и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего, сосредоточенного лица. Меня продолжало занимать само по себе то, к чему первому обратилось внимание.

Само по себе — я, следовательно, думал о пустяках, о внешности, и так пристально, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице Визи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на коленях, стала тонкой по-детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжело и, может быть, долго болен. «Да, долго», — подтвердил снег, белевший сквозь черноту стекла, в тишине ночной улицы. Голове было непривычно тепло, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль.

-- Прелестно! — сказал я, с некоторым совершенно несобъяснимым удовольствием по этому поводу, и шелкнул слабыми пальцами. Визи «выходила» меня, я видел это по изнуренности ее лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на трех часах. Будильники — эти палачи счастья — не покупались никогда ни мной, ни Визи, и нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах, разумеется, означала часы ночи. Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была

что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности. — наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась обеспокоить мою особу — больную, подстреленную, жалкую. Я покачал головой.

Прошло очень немного времени, пока я обдумывал, по странному уклону мысли, способность Ильи-пророка вызывать гром, как очень короткий, нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал: «Визи, ты видишь, что я здоров», — и она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движения; уже не испуг, а крупные, горячие слезы блестели в ее ярких глазах. Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно.

— Милый Галь, ложись, — просила она, слабо, но очень настойчиво подталкивая меня к кровати. — Теперь я вижу, что ты спасен, но еще нужно лежать до завтра, до доктора. Он скажет...

Я лег, несколько не потревоженный ее радостью и волнением. Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке и горизонтальноному своему положению. Визи села у изголовья, рассказывая обо мне, и я увидел в ее рассказе человека с желтым лицом, с красными от жара глазами, срывающего с простреленной головы повязку и болтающего различный вздор, на который присутствующие отвечают льдом и пилюлями. Так продолжалось месяц. Сложное механическое кормление я представил себе дождем падающих в рот пирожков и ложек бульона. Визи, между прочим, сказала:

— У меня было одно утешение в том случае, если бы все кончилось печально: что я умру тоже. Но ты теперь не думай об этом. Как долго я не говорила с тобой! Спокойной ночи, милый спасенный друг! Я тоже хочу спать.

— Ах, так!.. — сказал я, немного обиженный тем, что меня оставляют, но в общем непривычно довольный. Вели-

колепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня. «Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительно больше женщины, то все обстоит благополучно и правильно». Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: «Я — снисходительно-справедливый мужчина». В еще больший восторг привели меня некоторые предметы, попавшиеся мне на глаза: стенной календарь, корзинка для бумаги и лампа, покрытая ласковым зеленым абажуром. Они бесспорно укрепили счастливое настроение порядка, господствующего во мне и вокруг меня. Так хорошо, так покойно мне не было еще никогда.

— Чудесная, милая Визи! — сказал я. — Я решительно ничего не имею против того, чтобы ты заснула. Отправляйся. Надеюсь, что твоя бдительность проснется в нужную минуту, если это мне понадобится.

Она рассеянно улыбнулась, не понимая сказанного, — как я теперь думаю. Скоро я остался один. Великолепное настроение решительно изнежило, истомило меня. Я уснул, дрыгнув ногой от радости. «Мальчишество», — скажете вы. О, если бы так!

III

Через восемь дней Визи отпустила меня гулять. Ей очень хотелось идти со мной, но я не желал этого. Я находил ее слишком серьезной и нервной для той благодати чувств, которую отметил в прошлой главе. Переполненный беспричинной радостью, а также непривычной простотой и ясностью впечатлений, я опасался, что Визи, утомленная моей долгой болезнью, не подыметесь во время прогулки до уровня моего настроения и, следовательно, нехотя разрушит его. Я вышел один, оставив Визи в недоумении и тревоге.

Херам — очень небольшой город, и я быстро обошел его весь, по круговой улице, наслаждаясь белизной снега и тишиной. Проходящих было немного. Я с удовольствием рассматривал их крепкие, спокойные лица провинциалов. У базара, где в плетеных корзинках блестили груды скользких голубоватых рыб, овощи рдели зеленым, красным, лиловым и розовым бордюром, развороченные мясные туши добродушно рассказывали о вкусных, ворчащих маслом, бифштексах, — я глубокомысленно постоял минут пять в гастрономическом настроении, а затем отправился дальше, думая, как весело жить в этом прекрасном мире. С чувством пылкой признательности вспомнил я некогда ненавистного мне Гуктаса: не будь Гуктаса, — не было бы дуэли; не будь дуэли, — я не пролежал бы месяц в беспомощности. Месяц болезни дал отдохнуть душе. Так думал я, не подозревая истинных причин нынешнего своего состояния.

Необходимо сказать, чтобы не возвращаться к этому, что в силу поражения мозга моя мысль отныне удерживалась только на тех явлениях и предметах, какие я выбирал непосредственно пятью чувствами. В равной степени относится это и к моей памяти. Я вспоминал лишь то, что видел и слышал, мог даже припомнить запах чего-либо, слабее — прикосновение, еще слабее — вкус кушанья или напитка. Вспомнить *настроение, мысль* было не в моей власти; вернее, мысли и настроения прошлого скрылись из памяти совершенно бесследно, без намека на тревогу о них.

Итак, я двигался ровным быстрым шагом, в веселом возбуждении, когда вдруг заметил на другой стороне улицы вывеску с золотыми буквами. «Редакция маленького Херама», — прочел я и тотчас же завернул туда, желая немедленно написать статью, за что, как я хорошо помнил, мне всегда охотно платили деньги. В комнате, претендующей на стильный, но деловой уют, сидели три человека. Один из них, почтительно кланяясь, назвался редактором и в кратких, приятных фразах выразил удовольствие по поводу моего выздоровления. Осталь-

ные беспрерывно улыбались, чем все общество окончательно восхитило меня, и я, хлопнув редактора по плечу, сказал:

— Ничего, ничего, милейший! Как видите, все в порядке. Мы чувствуем себя отлично. Однако позвольте мне чернил и бумаги. Я напишу вам маленькую статью!

— Какая честь! — воскликнул редактор, суетясь около стола и делая остальным сотрудникам знак удалиться.

Они вышли. Я сел в кресло и взял перо.

— Я не буду мешать вам? — сказал редактор вопросительным тоном. — Я тоже уйду.

— Прекрасно, — согласился я. — Ведь писать статью... вы знаете? Хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе!.. — осклабившись, повторил он и скрылся.

Я посмотрел на чистый листок бумаги, не имея ни малейшего понятия о том, что буду писать, однако не испытывая при этом никакого мыслительного напряжения. Мне было по-прежнему весело и покойно. Подумав о своих прежних статьях, я нашел их очень тяжелыми, безрассудными и запутанными — некими старинными хартиями, на мрачном фоне которых появлялись и пропадали тусклые буквы. Душа требовала минимальных усилий. Посмотрев в окно, я видел снег и тотчас же написал:

СНЕГ

Статья Г. Марка

За время писания, продолжавшегося минут десять, я время от времени посматривал в окно, и у меня получилось следующее:

«За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие, чистые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой. Затем пробежала собака, обнюхивая следы, остав-

ленные дамой, и оставляя сбоку первых следов — свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке: он шел по собачьим и дамским следам и спутал их в одну тропинку своими широкими галошами. Синяя тень треугольником лежит на снегу, пересекая тропинку.

Г. Марк».

Совершенно довольный, я откинулся на спинку кресла и позвонил. Редактор, войдя стремительно, впился глазами в листок.

— Вот и все, — сказал я. — «Снег». Довольны ли вы такой штукой?

— Очень оригинально, — заявил он унылым голосом, читая написанное. — Здесь есть *ничто*.

— Прекрасно! — сказал я. — Тогда заплатите мне столько-то.

Молча, не глядя на меня, он подал деньги, а я, спрятав их в карман, встал.

— Мне хотелось бы, — тихо заговорил редактор, смотря на меня непроницаемыми, далеко ушедшими за очки, глазами, — взять у вас статью на политическую или военную тему. Наши сотрудники бездарны. Тираж падает.

— Конечно, он падает, — вежливо согласился я. — Сотрудники бездарны. А зачем вам военная или политическая статья?

— Очень нужно, — жалобно процедил он сквозь зубы.

— А я не могу! — Я припомнил, что такое «политическая статья», но вдруг ужасная лень говорить и думать заявила о себе нетерпеливым желанием уйти. — Прощайте, — сказал я. — Прощайте! Всего хорошего!

Я вышел, не обернувшись, почти в ту же минуту забыв и о редакции и о «Снеге». Мне сильно хотелось есть. Немедленно я сел на извозчика, сказал адрес и покати́л домой, вспоминая некоторые из ранее съеденных кушаний. Осо-

бенно казались мне вкусными мясные колобки с фаршем из овощей. Я забыл их название. Тем временем экипаж подкатил к подъезду, я постучал, и мне открыла не прислуга, а Визи. Она нервно, радостно улыбаясь, сказала:

— Куда ты исчез, бродяжка? Иди кормиться. Очень ли ты устал?

— Как же не устал? — сказал я, внимательно смотря на нее. Я не поцеловал ее, как обычно. Что-то в ней стесняло меня, а ее делало если не чужой, то *трудной*, — непередаваемое ощущение, сравнимое лишь с обязательной и трудно исполнимой задачей.

Я уже не видел ее души, — надолго, как стальная дверь, хранящая прекрасные сокровища, закрылись для меня, редкой игрой судьбы, необъяснимые прикосновения духа, явные даже в молчании. Нечто от прошлого, однако, силлось расправить крылья в пораженном мозгу, но почти в ту же минуту умерло. Такой крошечный диссонанс не испортил моего блаженного состояния; муха, севшая на лоб сотрясаемого хохотом человека, годится сюда в сравнение.

Я видел только, что Визи приятна для зрения, а ее большие дружеские глаза смотрят пытливо. Я разделся. Мы сели за стол, и я бросился на еду, но вдруг вспомнил о мясных шариках.

— Визи, как называются мясные шарики с фаршем?

— «*Тележки*». Их сейчас подадут. Я знаю, что ты их любишь.

От удовольствия я сердечно и громко расхохотался — так сильно подействовала на меня эта неожиданная радость, серьезная радость настоящей минуты.

Вдруг слезы брызнули из глаз Визи, — без стопа, без резких движений она закрыла лицо салфеткой и отошла, повернувшись спиной ко мне, к окну.

Я очень удивился этому. Ничего не понимая и не чувствуя ничего, кроме неприятности от перерыва в обеде, я спросил:

— Визи, это зачем?

Может быть, случайно тон моего голоса обманул ее. Она быстро подошла ко мне, перестав плакать, но, вздрагивая, как озябшая, придвинула стул рядом с моим стулом и бережно, но крепко обняла меня, прильнув щекою к моей щеке. Теперь я не мог продолжать есть суп, но стеснялся пошевелиться. Терпеливо и злобно слушал я быстрые слова Визи:

— Галь, я плачу оттого, что ты так долго, так тяжело страдал; ты был без сознания, на волоске от смерти, и я вспомнила весь свой страх, долгий страх целого месяца. Я вспомнила, как ты рассказывал мне про маленького лунного жителя. Ты мне доказывал, что есть такой... и описал подробно: толстенький, на голове пух, два вершка ростом... и кашляет... О Галь, я думала, что никогда больше ты не расскажешь мне ничего такого! Зачем ты сердисься на меня? Ты хочешь вернуться? Но ведь в Хераме тихо и хорошо. Галь! Что с тобой?

Я тихо освободился от рук Визи. Положительно, женщина эта держала меня в странном злостном недоумении.

— Лунный житель — сказка, — внушительно пояснил я. Затем думал, думал и наконец догадался: «Визи думает, что я себя плохо чувствую». — Эх, Визи, — сказал я, — мне теперь так славно живется, как никогда! Я написал статью-ку, деньги получил! Вот деньги!

— О чем статью и куда?

Я сказал — куда и прибавил: «О снеге».

Визи доверчиво кивнула. Вероятно, она ждала, что я заговорю, как раньше, — серьезно и дружески. Но здесь прислуга внесла «тележки», и я ревностно принялся за них. Мы молчали. Визи не ела. Подымая глаза, я встречался с ее нервно-спокойным взглядом, от которого мне, как от допроса, хотелось скрыться. Я был совершенно равнодушен к ее присутствию.

Казалось, ничто было не в силах нарушить мое безграничное, счастливое равновесие. Слезы и тоска Визи лишь на мгно-

вение коснулся его и только затем, чтобы сделать более нерушимым силой контраста то непередаваемое довольство, в каком погруженный по уши сидел я за сверкающим белым столом перед ароматически дымящимися кушаньями. в комнате высокой, светлой и теплой, как нагретая у отмели солнцем вода. Кончив есть, я посмотрел на Визи, снова нашел ее приятной для зрения, затем встал и поцеловал в губы так, как целует нетерпеливый муж. Она просияла (я видел, *каким* светом блеснули ее глаза), но, встав, подошла к столику и, шутиливо подняв над головой склянку с лекарством (которое я изредка еще принимал), лукаво произнесла:

— Две ложки после обеда. Мы в разводе, Галь, еще на полтора месяца.

— Ах, так? — сказал я. — Но я не хочу лекарства.

— А для меня?

— Чего там! Я ведь здоров! — Вдруг, посмотрев в окно, я увидел быстро бегущего мальчика с румяным, задорным лицом и тотчас же загорелся neodолимым желанием ходить, смотреть, слушать и нюхать. — Я пойду, — сказал я. — До свиданья пока, Визи!

— О нет! — решительно сказала она, беря меня за руку. — Тем более что ты так *непривычно* желаешь этого.

Я вырвался, надел шубу и шапку. Мое веселое, резкое сопрогишение поразило Визи, но она не плакала более. Ее лицо выражало скорбь и растерянность. Глядя на нее, я подумал, что она просто упряма. Я подарил ей один из тех коротких, пустых взглядов, какими говорят без слов о нудности текущей минуты, повернулся и увидел себя в зеркале. Какое лицо! В третий раз смотрел я на него после болезни и в третий раз радостно удивлялся: мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни серое — лицо, как взбитая, приглаженная подушка. Итак, по-видимому, я перенес *представление о своем воображенном лице* на отражение в зеркале, видя не то, *что есть*. Над левой бровью,

несколько стянув кожу, пылал красный, формой в виде боба, шрам, — этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным. Затем я вышел, сильно хлопнув в знак власти дверью, и очутился на улице.

IV

Не знаю, сколько времени и по каким местам я бродил, где останавливался и что делал; этого я не помню. Темнело. Как бы проснувшись, услышал я тяжелый, из глубины души, трудный и долгий вздох. На углу, прислонясь к темной под ярким окном стене, стоял человек без шапки, одетый скудно и грязно. Он вздыхал, посылая пространству тяжкие, полные бесконечной скорби, вздохи, стоны, рыдания. Лица его я не видел. Наконец он сказал с мрачной и трогательной силой отчаяния: «Боже мой! Боже мой!» Я никогда не забуду тона, каким произнеслись эти слова. Мне стало не по себе. Я чувствовал, что еще вздох, еще мгновение — и мое благостное равновесие духа перейдет в пронзительный крик.

Поспешно я отошел, оставив вздыхающего человека наедине с его тайным горем, и тронулся к центру города. «Боже мой! Боже мой!» — машинально повторял я, этот маленький инцидент оставил скверный осадок — тень раздражения или тревоги. Не совсем спокойно чувствовал я себя. Меж тем темнота сплотилась полной силой глухой, зимней ночи. Прохожие попадались реже и шли быстрее. В редких фонарях монотонно шипел газ, и я невольно прибавил шагу, стремясь к блистающим площадям центра.

Один фасад, слабо озаренный стоящим в отдалении фонарем, заставил меня остановиться и внимательно осмотреть его. Меня поразило обилие сухих виноградных стеблей, поднимавшихся от земли, по белому фону простенков к бал-

конам и окнам первого этажа. Сеть черных кривых линий зловеще обсаживала фасад, словно тысячи трещин.

Одно из окон второго этажа было полуосвещено, свет мелькал в его глубине, и в светлых неясных отблесках за стеклом рамы виднелся едва различимый, бледный, под изгибом черных волос, женский профиль. Я не мог рассмотреть его благодаря, как сказано, неверному и слабому освещению, но почему-то упорно всматривался. Профиль намечался попеременно прекрасным и отвратительным, уродливым и божественным, злым и весенне-ясным, энергичным и мягким. Придушенные стеклом, слышались ленивые звуки скрипки. Смычок выводил неизвестную, но плавную и красивую мелодию. Вдруг окно осветилось полным блеском невидимого огня, и я при низких, нежно и горделиво стихающих аккордах увидел голову пожилой женщины, с крепкой, сильно выдающейся нижней челюстью; черные глаза под нахмуренным низким лбом смотрели на какое-то, проворно перебираемое руками, шитье.

Весь этот странный узел зрительных и слуховых впечатлений вызвал у меня в то же мгновение такой острый, черный прилив тоски, стеснившей сердце до боли, что я, с глазами, полными слез, машинально отошел в сторону. Звуки скрипки казались самыми дорогими и печальными в мире. Я длил тоску в смутном ожидании чуда, как будто ради нее некий мертвенно мрачный занавес должен был распахнуться широким кругом, обнажив зрелище повелительной и несравненной гармонии... Это был первый припадок тоски. Наконец она стала невыносимо резкой. Увидев пылающий фонарями трактир, я вошел и выпил залпом у стойки несколько стаканов вина и сел в углу, повеселев и став опять грубее и проше, как час назад.

Рассматривая присутствующих, покуривая и внутренне веселясь в ожидании целого ряда каких-то прелестей, освеженный и согретый вином, я обратил внимание на вертлявоглазое, хитрое лицо старика, сидевшего неподалеку, в об-

шестве плохо одетой, смуглой и полной женщины. Ее напудренное лицо с влажными черными глазами и ртом ненормально красным было совсем некрасиво, однако ее упорный взгляд, обращенный ко мне, был взглядом уверенной в себе женщины, и я кивнул ей, рассчитывая поболтать за бутылкой. Старик, драный, как облезлая кошка, тотчас же встал и пересел к моему столику.

— Вино-то... — сказал он так льстиво, словно поцеловал руку, — вино какое пьете? Дорогое вино, хорошее, хе-хе-хе! Старичку бы дать! — И он протянул руку.

— Пейте, — сказал я, наливая ему стакан, поданный слугой с бешеной торопливостью, не иначе как из уважения ко мне, *барину*. — Как вас зовут, старик, и кто вы такой?

Он жадно выпил, перемигнувшись через плечо со своей дамой.

— Я, должен вам сказать, — питаюсь услугами, — сказал старик, подмигивая мне весьма фамильярно и плутовато. — Прислуживаю я каждому, кто платит, и прислуживаю охотнее всего по веселеньким таким, остро-пикантным делам. Понимаете?

— Все понимаю, — сказал я, пьянея и наваливаясь на стол. — Служите мне.

— А вы чего хотите?

Я посмотрел на неопределенно улыбающуюся за соседним столом женщину. Спутница старика, в синем, с желтыми отворотами, платье и красной накидке, была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней.

— Пригласите вашу даму пересесть к нам.

— Дама замечательная! Первый сорт! — радостно закричал старик и, обернувшись, взвизгнул на весь зал: — Полина! Переваливайтесь сюда к нам, да живо!

Она подошла, села, и я, пока не пришла кошка, не сводил более с нее глаз. От ее круглой статной шеи, полных, с маленькими кистями, рук, груди и пухлых висков разило

чувственностью. Я жадно смотрел на нее, она присматривалась ко мне, молчала и улыбалась особенной улыбкой. Старик, воодушевляясь, время от времени, по мере того как слуга ставил нам свежие винные бутылки, держал короткие, но жаркие речи о необыкновенных достоинствах Полины или о своем прошлом богатстве, которого, смею думать, у него никогда не было.

Я охмелел. Грязный горластый сброд, шумевший за столиками, казался мне обществом живописных гигантов, празднующих великолепие жизни. Море разноцветного света заполняло трактир. Я взял руки Полины, крепко сжал их и заявил о своей страсти, получив в ответ взгляд более чем многообещающий. Старик уже встал, застегиваясь и обматывая шею цветным шарфом. Я знал, что поеду куда-то с ним, и стал громко стучать, требуя счет.

В эту минуту маленькая, больная и худая, как щепка, серенькая трактирная кошка нерешительно подошла ко мне, робко осмотрела мои колени и, тихо прыгнув, уселась на них, подняв торчком жалкий, облезлый хвост. Она терлась о мой рукав и подобострастно громко мурлыкала, требуя, видимо, внимания к своей жизни, заинтересованной в моих развлечениях. Я смотрел на нее со страхом и внезапной слабостью сердца, чувствуя, что уступаю новой волне тоски, отхлынувшей временно благодаря бутылке и женщине. Все кончилось. Потух пьяный огонь, — горькое, необъяснимое отчаяние сразило меня, и я, опять силясь, но тщетно, припомнить что-то, неподвластное памяти, бросил деньги на стол, ударил старика по его испуганно цепляющимся за меня рукам, вышел и поехал домой.

Холод, плавный бег саней и тишина улиц постепенно истребили тоску. В весьма благосклонном, ровном и мирном настроении я позвонил у занесенных снегом дверей, мне открыла снова Визи, но, открыв, тотчас же ушла в комнаты. Я разыскал ее у камина, в маленьком мягком кресле, с книгой в руках,

и сел рядом. Я очень хорошо знал, что я нетрезв и взъерошен, однако совсем не хотел скрывать этого. Визи, внимательно, без улыбки смотря на меня, сказала тихо:

— Сегодня заходил доктор и очень тепло справлялся о тебе. Он хочет бывать у нас. Он просил разрешить ему это. Как ты думаешь? Тебе, кажется, скучно, а такой собеседник, как доктор, незаменим.

— Доктора — ученые люди, — пробормотал я, — а мне, Визи, очень надоели сложные разговоры. Превыспренние! Аналитические! Ну их, в самом деле! Я человек простой и добродушный. Чего там рассуждать? Живется — и живи себе на здоровье.

Визи не отвечала. Она задумчиво смотрела на раскаленные угли и, встрепенувшись, ласково улыбнулась мне.

— Я не скрою... Меня несколько пугает резкая перемена в тебе после болезни.

— Вот глупости! — сказал я. — Ты говоришь самые неподходящие глупости! Изменился! Да, очень, вероятно!.. Боже мой! Неужели ты, Визи, *завидуешь* мне?

— Галь, что ты? — испуганно воскликнула Визи. — За чем это?

— Нет, — продолжал я, усматривая в словах Визи завистливую и ревнивую придирчивость, — когда человек чувствует себя хорошо, другим это всегда мешает. Да пусть бы все так изменилось, как я! Хоть и смутно, но понимаю же я наконец, каким я был до болезни, до этой замечательной раны, нанесенной Гуктасом. Все меня волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная, — что за ужасное время! Фу! Каким можно быть дураком! Все очень просто, Визи, не над чем тут раздумывать.

— Объясни, — спокойно сказала Визи, — может быть, я тоже пойму. *Что* просто и — в чем?

— Да все. Все, что видишь, такое и есть. — Помолчав, я с некоторым трудом подыскал пример, по-моему, убедитель-

ный: — Вот ты, Визи, сидишь передо мной и смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Она закрыла лицо руками, видимо обдумывая мои слова. С торжеством, с безжалостной самоуверенностью я ждал возражений, но Визи, открыв лицо, вдруг спросила:

— Что думаешь ты об этом месте, Галь? Это твой любимец, Конфор. Слушай, слушай! «День проходит в горьких заботах о хлебе, ночь — в прекрасных золотых сновидениях. Зато днем ярко горит солнце, а ночью, проснувшись, я побежден тьмой и ужасом тишины. Блажен тот, кто думает только о солнце и сновидениях».

— Очень плохо, — решительно сказал я. — Каждому разрешается помнить все что угодно. Автор, положительно, невежлив к читателю. А во-вторых, я несколько пьян и хочу спать. Прощай, Визи. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, милый, — рассеянно сказала она. — Завтра ты будешь работать?

— Бу-ду, — нерешительно сказал я, — хотя знаешь, о чем писать? Все ведь избито. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — медленно повторила Визи. Уходя, я обернулся на особый оттенок голоса и поймал выражение нескрываемого, тоскливого страха в ее возбужденном лице. Мы встретились взглядами. Визи поторопилась улыбнуться, — как всегда, нежно кивнув. Я ушел в спальню, разделся и лег с стесненной душой, но с задней лукавой мыслью о том, что Визи из простого упрямства не хочет понять меня.

V

Так повторилось раз, два, три, десять: причинами внезапной тоски служили, как я заметил, такие разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию «тоска», что я не мог избежать их. Чаше всего это была

музыка, безразлично какая и где услышанная, — торжественная или бравурная, веселая или грустная — безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью о невоспоминаемом, о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу — истребителю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность.

Я стал определенно и нескрываемо равнодушен к Визи. Ее все более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней, как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были наши разговоры и встречи, — именно *встречи*, так как я не бывал дома по два и по три дня, ночуя у случайных знакомых, которых развелось изобилие. То были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники... Казалось, все профессии участвовали в моих скитаниях по Хераму в дни описанного выше безысходного тоскливого состояния. Мне нравился разговор этих людей: простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и *надрыва*. Он предлагал вниманию факты в безусловном, так сказать, арифметическом, их значении: «Раз, два... четыре... одиннадцать, — случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». Я радостно перевел бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведенных выше, не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка, законченности всего стало, за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.

Доктор, против ожидания моего, появился-таки в нашей квартире, он был расторопен и вежлив, весел и оживлен. Он сделал мне множество предложений, как хитрый медик, замаскированно медицинского свойства: прогулку на раскоп-

ки, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке, наконец, предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и беседованием на религиозные темы. Я слушал его внимательно, промолчав на все это, и прощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визи:

— От чего хочешь ты меня лечить?

— Я хочу только, чтобы ты не скучал, — глухо произнесла она таким усталым, невольным сказавшим более, чем хотела, голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось мгновение. Я звонко расхохотался.

— Ты, ты не скучай, Визи, — сказал я, — а мне скучно быть не может, слышишь?! Я, право, не узнаю себя. Какое веселье, какая скука? Нет у меня ни этого, ни другого. Ну, и просто — я всем доволен! Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить, Визи.

— Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого — знаешь? — хочется тихо петь или, улыбаясь, молчать... Наш разговор оборвался... мы вели его словами и сердцем...

— Мне странно слышать это, — сказал я, — быть может, ранее чрезмерная возбудимость...

Но я не закончил. Я хотел добавить: «...нравилась тебе» — и вдруг, как прихлопнутый глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке завернуть в прошлое.

— Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз, — трусливо сказал я, — меня расстраивают эти разговоры.

Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадежно и безрезультатно напрягали мою душу: она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал.

— Уходи, если хочешь, — печально сказала Визи, — я лягу спать.

— Вот именно, я хотел прогуляться, — заявил я, быстро беря шляпу и целуя ее руку с тайной благодарностью. — Но я скоро вернусь.

— Скоро?.. А «Метеор» снова просит статью.

Я улыбнулся и вышел. Давно уже когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погружившись в тишину теплого, *сытого* вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал. Но, конечно, это я шел с *сытой* душой, и шел в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую, торжественно висящую звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и решил некоторое время сидеть уже в дымном воздухе «Веселенького гусара», слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом.

VI

Зима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью. Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще, иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалеким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи,

я видел ее как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать ее голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чем хотел говорить я, то есть о незамысловатых и маловажных вещах.

Был поздний вечер, когда в трактире «Веселенького гусара» посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: «Господину Марку от Визи». Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным любопытством *зрителя*, как если бы присутствовал при чтении письма человеком, посторонним мне, другому, тоже постороннему. Некоторое время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбужденным взглядом. Преодолев это неудобство, я прочитал:

«Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменялся, какими чужими и далекими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернется, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот, прежний, внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой! Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой. Но жить так дальше, прости меня, — не могу! Я подробно написала обо всем издателю «Метеора», он обещал назначить тебе жалованье, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова начать работать. Прощай. Я уезжаю! Прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.

Визи».

— Визи, — повторил я вслух, складывая письмо. В этот момент, роняя прыгающий мотив, среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наемного музыканта, обслуживавшего компанию кочегаров, и я заметил, что му-

зыка *подчеркивает* письмо, делая трактир и его посетителей *своими*, отдельными от меня и письма. Я стал одинок и как бы, не вставая еще с места, вышел уже из этого помещения.

Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, осилить которое было мне еще не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там, — тишины и отсутствия Визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему, я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некие разъяснения случившегося. Содержание письма, логически вполне ясное, внутренне отвергалось мной в силу того, что я не мог представить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего ярко горестного, такого, что сразу потрясло бы меня, однако сердце билось сильнее и путь к дому показался не близким.

Я позвонил. Открыла прислуга, меланхолическая, пожилая женщина. Глаза ее остановились на мне с каменной осторожностью.

— Барыня дома? — спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов и видел, что шляпы и пальто Визи нет.

— Они уехали, — тихо сказала женщина. — Уехали в восемь часов. Вам подать ужин?

— Нет, — сказал я, направляясь к темному кабинету, и, постояв там во тьме, у блестящего уличным фонарем окна, зажег свечу, затем перечитал письмо и сел, думая о Визи.

Она представилась мне едущей в вагоне, в парходной каюте, в карете — удаляющейся от меня по прямой линии. Она сидела, — я видел только ее затылок и спину и даже, хотя слабо, линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял ее голову, пытаюсь повернуть к себе; воображение отка-

зывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел ее лица. Тоскливое желание заглянуть в ее лицо некоторое время не давало мне покоя, затем, устав, я склонился над столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений.

Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то, упавшего к ногам, не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то имеющее, быть может, отношение к Визи. — неопределенный поступок, вытекающий скорее из потребности действия, чем из оснований разумных.

В ящике я нашел много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы: сломанные карандаши, палочки сургуча, несколько разрозненных запонок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанных шнурком. То были статьи из «Вестника» и «Метеора» за прошлый год. Я развязал пачку, повинувшись окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем, имеющим отношение к Визи. Статьи эти вырезывала и собирала она, на случай, если бы я захотел издать их отдельной книгой.

Я развязал пачку, просматривая заглавия, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь, и даже, приблизительно, скелетное содержание статей, но далекий от восстановления, так сказать, *атмосферы сознания*, характера настроений, облекающих работу. От заглавий я перешел к тексту, пробегая его с равнодушным недоумением, — все написанное казалось отражением чуждого ума и отражением бесцельным, так как вопросы, трактованные здесь, как-то: война, религия, критика, театр и так далее, трогали меня не больше, чем снег, выпавший, примерно, в Австралии.

Так, просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную «Ценность страдания», статью, написанную приемом сильных контрастов и в свое время на-

делавшую немало шума. В противность прежде прочитанному некоторые выражения этой статьи остановили мое внимание, в особенности одно: «Люди с так называемой «душой нараспашку» лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания; не задерживаясь, без тонкой силы внутреннего напряжения, врываются в их душу и без остатка покидают ее те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать ценным и глубоким переживанием». Я прочитал это два раза, томясь вспомнить, какое, в связи с Визи, обстоятельство родило эту фразу, и с неожиданной, внутренне толкнувшей отчетливостью вспомнил! — так ясно, так проникновенно и жалко, что встал в волнении чрезвычайном, почти болезненном. Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищенное словами, в неверности и условности нашего языка оставит терпкое сознание недосказанности и, конечно, никак уже не выразимого словами, *приниженного* экстаза. Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень, бескрайно полон ею и своим *сжатым* волнением. После того я написал вышеприведенное рассуждение.

Я вспомнил это живо — и сердцем, а не механически. Мне не сиделось, я прошелся по кабинету. В углу лежал скомканный лист бумаги, я поднял его, развернул и с изумлением, чуждым еще догадкам, увидел, что лист, не вполне дописанный красивым, мелким почерком Визи, был не чем иным, как неоконченной, но разработанной уже в значительной степени *моей* статьей, с заголовком «Ртутные рудники Херама», статья Г. Марка». Я *никогда* не писал этой статьи и не диктовал ее никому, я *ничего* не писал.

Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и, как аромат цветка, свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову, слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например: «совсем просто», «замечательно хорошие», «как взглянуть» — делали написанное прекрасной работой. «Статья Г. Марка», — снова прочел я... и стало мне в невольных, неудержимых, тяжких слезах спасительно резкой скорби ясным все.

Я сидел неподвижно, пытаясь овладеть положением. «Я *никогда* больше не увижу ее», — сказал я, проникаясь, под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову «никогда». Оно выражало запрет, тайну, насилие и тысячу причин своего появления. Весь «я» был собран в этом одном слове. Я сам, своей жизнью, вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а Визи оставалось только произнести его письменно, чтобы, вспыхнув черным огнем, стало оно моим законом, и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка, — механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, вспоминая скорее ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что «никогда» смеется даже над бесконечностью.

Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, сгоряча еще не очень чувствительного, но отраженного в инстинкте страхом и возмущением. Я хотел видеть Визи, и видеть возможно скорее, чтобы ее присутствием ощупать свою рану, но это черное «никогда» поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на неоконченную Визи статью. Мучительное представление об ее тайной,

тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвление было ярким до нестерпимости. Я вспомнил ее улыбку, походку, голос, движения, наклон головы, ее фигуру в свете и в сумерках — во всем этом, так драгоценном теперь, не сквозило никогда даже намек на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как! И с какими надеждами! — с меньшими, чем у смертельного больного, еще дышащего, но думающего только о смерти.

Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя, как *прежде*: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений, со всем ее оглушительным эхом в делах сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь *от сна*. Я встал с единственным, неотложным решением отыскать Визи, спокойно зная, что отныне, с этого мгновения, увидеть ее — становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я получил его, приняв *такое* решение, но спокойствие подобного рода охотно променял бы на любую, уничтожительнейшую из пыток.

Белое, еще бессолнечное утро открыло за бледно-голубым окном пустую, тихую улицу. Я вышел, направляясь к озерной пристани. Я хотел верить, что Визи предварительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этого города, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне адрес, — я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле.

Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз» — тот самый, который увозил нас в прошлом году в Херам. Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус,

трубу в белых кольцах, мачты и рубку, — он был для меня живым *третьим*, помнившим присутствие Визи и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием.

На пристани почти никого не было. — бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный сор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул на прибитое к стене расписание: «Приз» отходил в десять часов утра, а перед этим, вчера, вышел тем же рейсом «Бабун», — в одиннадцать сорок минут вечера. Только «Бабун» мог увести Визи. Это немного развеселило меня. Нас разделяло часов двенадцать пути — срок, за который Визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал этот вопрос и с горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня. Все поведение мое должно было убедить ее в том, что я вздохну с облегчением, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть Визи врасплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая события, я вызвал болезненно напряженной душой призраки и голоса встречи, варьируя их во множестве оттенков и положений, и, мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения.

Когда солнце поднялось выше и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, вспахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши Херама с чувством неудовлетворенного любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нем не жил. Так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и неуловимых ограниченным, скользким вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где, против воли, совер-

шенно измученный событиями прошлой ночи, заснул. Проснулся я в темноте, тревоге и ропоте монотонно шумливых волн, поплескивающих о борт. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу.

По-видимому, был глухой, поздний час ночи, так как в пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера, силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокотившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться; я подошел и сказал негромко, в тон глухой ночи: «Если вам тоже, как и мне, не спится, сударыня, поговорим о чем-нибудь полчаса. Обычное право путешественников...»

Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи... Ни верить этому, ни отрицать этого я не смел в первое мгновение, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же, отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог еще произнести ни слова, ни звука, и стоял молча, совершенно расколотый неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только:

— Это ты, Визи?

— Я, милый, — устало произнесла она.

— О, Визи... — начал я было, но слезы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах. — Я ведь опять тот, — выговорил я наконец с чрезвычайным усилием, — тот, и искал тебя! Посмотри на меня ближе, побудь со мной хоть месяц, неделю, один день.

Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал:

— Я очень жалею, что опоздала на вечерний пароход и что мы здесь встретились... Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне! Уйдем друг от друга.

— Хорошо, — сказал я, холодея от ее слов, — но выслушай меня раньше. Только это!

— Говори... если можешь...

В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели.

Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время непохожей на меня, жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нервной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду — до конца дней.

КОРАБЛИ В ЛИССЕ

I

Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещей и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею, как обиходным предметом. Почему? Столетия останоят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие — геометрически — с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение — значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелькает мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но, начали мы, есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет, и люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли, или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральной раствором жидкости: легко возмути ее — и вся она, в молниеносно возникших кристаллах, застыла неизгладимо... в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному — душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живет грезам, сво-

бодным от придилок момента. Такой человек предпочтет лошадей вагону; свечу — электрической груше; пушистую косу девушки — ее же хитрой прическе, пахнувшей горелым и мускусным; розу — хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь, по необходимости, замкнута, а внешняя — состоит во взаимном отталкивании.

II

Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному — в примере — человеку с его жизненным настроением.

Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город этот определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попадо, среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веселобразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рожающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы,

даль океана: ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисса. Здесь две гостиницы: «Колючая подушка» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе — трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани — в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе», после десятилетней борьбы, воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.

Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер: ангелы, разумеется, молоды, оналяюще красивы и нежны, а мегеры — стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.

Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисса посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти — географического и гидрографического свойства; все в общем произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями.

III

В тот момент, как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно была видна гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансив-

ная личность, капитан Роберт Эстамп, капитан Рениор и капитан, более известный под кличкой «Я тебя знаю», благодаря именно этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.

Такое блестящее, даже аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны — вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования, — почему-либо сходились пьянствовать.

Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Рениор, с длинными черными волосами и глазами навывкате, напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом, отличался ехидством.

Трактир был полон: там — шумели, там — пели; время от времени какой-нибудь веселый до беспамьятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути; гремела посуда, и в шуме этом два раза уловил Дюк имя «*Битт-Бой*». Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.

— Вот с Битт-Боем, — вскричал Дюк, — я не убоюсь бы целой эскадры! Но его нет. Братцы капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть не я, а «Марианна». «Марианна», впрочем, есть я, а я есть «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я — с картечью и порохом! Видит Бог, братцы капитаны, — продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом, — после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую!

— Капер снова показался третьего дня, — вставил Эстамп.

— Не понимаю, чего он ищет в этих водах, — сказал Чинчар, — однако боязно подымать якоря.

— Вы чем же больны теперь? — спросил Рениор.

— Сушие пустыки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия!

Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени, чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара — он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.

— Я знаю, чего ищет разбойник! — заявил Дюк. — Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода, — «Фелицата»? Говорят, что нагружена она золотом.

— Судно мне незнакомо, — сказал Рениор. — Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?

Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов «Фелицаты», преследуемые любопытными взглядами, чинные, пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табаку и более не показывались.

— Какой-нибудь молокосос, — пробурчал Эстамп. — Невежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте. — вдруг разгорячился он, обращаясь к окну, — может, усы и вырастут!

Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:

— Как ни верти, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что мне, собственно, чужие лимоны?). Но отдать «Президента»...

— Или «Марианну»... — перебил Дюк. — Что, если она взорвется?! — Он побледнел даже и выпил двойную порцию. — Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор!

— Вы надосли мне со своей «Марианной», — крикнул Рениор, — до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва!

— А ваш «Президент» утопнет!

— Что-о?

— Капитаны, не ссорьтесь, — сказал Эстамп.

— Я тебя знаю! — закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю. — Поди сюда, угости старичишку!

Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей подушке» небывалыми новогвинейскими похождениями.

Эти суда — «Марианна», «Президент», «Пустынник» Чинчара и «Арамея» Эстампа — спаслись в Лисс от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якорь «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.

— Так я говорю, что хочу Битт-Боя, — заговорил охмелевший Дюк. — Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Маластино. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «боже мой»* и держит на коленях Бугузку. Входит Битт-Бой: «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса... Ах, чики, чики, сорвало бакены»... Но суть-то, братцы, не в бакенах. Али — турок,

* Нечто убийственное. Чистый спирт, настоянный на кайенском перце, с небольшим количеством меда.

бывший бенповский боцман, — сделал ему в брига дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец, Беппо в обмороке проплыл с Битт-Боем адский пролив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили других больше, чем макаронщика, но... каково же счастье Битт-Боя! В Кассете их швыряло на рифы... Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочонки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки!

— Битт-Бой... я упрощил бы его к себе, — заметил Эстамп. — Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети.

— Я вам расскажу про Битт-Боя, — начал Чинчар. — Дело это...

Страшный, веселый гвалт перебил старого плута. Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:

— Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой, приносящий счастье!

IV

Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованьем, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным, открытым лицом, выразившим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость, черты лица,

фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилением характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была доцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки, через руку перекинут был дождевой плащ.

Битт-Бой пожал десятки, сотни рук... Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских ослаблений: винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжение нескольких минут животворным облаком сердечной встречи; наконец он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-воловий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по-детски. Битт-Бой был общим любимцем.

— Ты, барабанщик фортуны! — сказал Дюк. — Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот налицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну».

— О капере? — спросил Битт-Бой. — Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за камнями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз... ялик и я высветились, как муха на блюдечке. Там — камни, тени, мох, трещины — меня не отличили от пустоты, но, не опусти я свой парус... итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор, помните фирму «Хевен и К°»? Она продает тесные башмаки с гвоздями

ми навылет; я вчера купил пару, и теперь у меня пятки в крови.

— Есть, Битт-Бой, — сказал Рениор, — однако смелый вы человек, Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты...

— Нет, «Пустынника», — заявил Чинчар. — Я же тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.

— Почему же не «Арамею»? — спросил сурово Эстамп. — Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.

Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда, шадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:

— Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу... Я не ищущу ее. Я ничего не скажу вам сейчас, ничего то есть определенного. Есть тому *одно обстоятельство*.

Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же... И как мне выбрать среди вас? Дюка?.. О нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и чтобы всем сказать: нате вам! Согласный ты с морем, старик, как я, Дюка люблю. А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю и Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты — «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник, — как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?.. Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я — и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно, шутить не будет, однако какой же может быть выбор? Даже представить нельзя этого.

— Жребий! — сказал Эстамп.

— Жребий! Жребий! — закричал стол. Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за тече-

нием разговоров; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:

— Осанисстая эта бриганттина, Эстамп. Кто ею командует?

— Невежа и неуч. Только никто еще не видел его.

— А ее груз?

— Золото, золото, золото. — забормотал Чинчар, — сладкое золото...

И со стороны некоторые подтвердили тоже:

— Так говорят.

— Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.

— На нем аккуратна вахта.

— Никого не принимают на борт.

— Тихо на нем...

— Капитаны! — заговорил Битт-Бой. — Совестьна мне странная моя слава, и надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте *условный* жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на вас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится *одно обстоятельство*.

— Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! — проснулся кто-то в углу.

Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса — теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руковод-

ствовался он только удивительным инстинктом своим. Так, впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает и, вдруг встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть: идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.

— Провались твое обстоятельство! — сказал Дюк. — Что же — будем гадать! Но ты не договорил чего-то, Битт-Бой.

— Да. Наступает вечер, — продолжал Битт-Бой, — немного остается ждать выигравшему меня, жалкого лодмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, и откажусь прямо. Но все равно, играйте пока.

Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Маринна»; длинный «Президент» с высоким бушпритом; «Пустынный» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями, — та «Фелицата», о которой спорили в кабаке — есть ли на ней золото.

Как печальны летние вечера! Ровная полутьма их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль — в беззвучной тоске угасания. На взгляд — все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли, неслышный ранее, стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни... но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне... И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.

— Вот, — сказал Битт-Бой, — летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе

птица. Хорошо ли так, капитаны? Теперь, — продолжал он, получив согласное одобрение, — теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если... как сказано. Ну, ну, толстокрылый!

Тут четыре капитана наших обменялись взглядом, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз меж «Президентом» и «Марианной», так близко на середину этого расстояния, что Битт-Бой и все усмехнулись.

— Птичка Божия берет на буксир обоих, — сказал Дюк. — Что ж? Будем вместе плести маты, друг Рениор, так, что ли?

— Погодите! — вскричал Чинчар. — Баклан ведь плавает! Куда он теперь поплывет, знатный вопрос?!

— Хорошо, к которому поплывет, — согласился Эстамп.

Дюк закрылся ладонью, задремал как бы; однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате» стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригантине, и направился, ныряя, баклан; Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами.

— Есть! — кратко определил он. — Все видели?

— Да, да, Эстамп, — все!

— Я ухожу, — сказал Битт-Бой, — прощайте пока; меня ждут. Братцы капитаны! Баклан — глупая птица, но, клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо — я сделал бы это. Итак, прощайте! Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или... расстанемся, братцы, на «никогда».

Последние слова он проговорил вполголоса — смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро пошел к выходу.

— Битт-Бой! — закричали вслед.

Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице.

V

Теперь пора нам объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.

Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн, — в кроткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясенные, — наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. *Есть люди,двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья.* Есть также выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», «легкая рука» — слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе *легких* людей проще и яснее настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. Одна есть верная их примета: простой смех — смех потому, что смешно, и ничего более; смех, не выражающий отношений к присутствующим.

Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как бы ни были

тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Бепло, рассказанный Дюком, — не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым инстинктом — не все ли равно... «Битт-Бой, приносящий счастье» — под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.

Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Ключей подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, к короткой каменной улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнея под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду.

Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, — у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать, две темных косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно

в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.

— Режи, Королева Ресниц! — сказал, меж поцелуями, Битт-Бой. — Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер.

— Наш, наш, милый мой, мой безраздельно! — сказала девушка. — Этой ночью я не ложилась, мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.

— Девушка должна много спать и есть, — рассеянно возразил Битт-Бой. Но он тут же стряхнул тяжелое угнетение. — Оба ли глаза я целовал?

— Ни один ты не целовал, скупец!

— Нет, кажется, целовал левый... Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок... — И он получил его вместе с его сиянием.

Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать — вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидите, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, до света продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.

Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота души и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.

Девушка бессознательно помогала ему:

— Сделай же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький!

Битт-Бой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом.

— Вот что, — сказал он изменившимся голосом, — ты, Режи, не перебивай меня. — Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился. — Я спрашивал и ходил везде... нет

сомнения... Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, послушай! Разве мы не будем друзьями? Режи... ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше: я пришел ведь только проститься. Я люблю тебя на разрыв сердца и... хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А разве к тому же я один на свете? Мало ли хороших и честных людей. Нет, нет, Режи, послушай меня, уясни все, согласишься... как же иначе?

В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы, но душевное волнение спутало наконец его мысли. Он умолк, разбитый нравственно и физически, — умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони.

— Битт-Бой... — рыдая, заговорила девушка. — Битт-Бой, ты дурак, глупый болтунишка! Ты еще ведь не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беле, ни страху. Вот видишь, — продолжала она, разгораясь все более, — ты расстроен. Но я успокою тебя... ну же, ну! — Она схватила его голову и прижала к своей груди. — Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе — хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо — и мне давай хорошо. Если ты повесишься — я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне большую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый... Я не знаю, чем уверить тебя: смертью, быть может?!

Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.

Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.

— Битт-Бой, — продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного, — ты умница, что молчишь и слушаешь меня. — Она продолжала,

приникнув к его плечу: — Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь «Битт-Бой», собака «Умница» и кошка «Режи». Из Лисса тебе, собственно, незачем больше бы и выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде: при врагах и друзьях, и при всех, кто придет, — пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту — как ты хотел улизнуть, негодный, — но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет свой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза...

Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, над яркими подводными цветами.

— ...И там много тюленей, Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битт-Бой, из-за какой там, не знаю... турчанки? Ты сказал — я Королева Ресниц... Возьми их себе, милый, возьми все, все...

Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилия неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив ни мертв. Однако уходило время; луна поднялась выше... Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел, с скрученным в душе воплем, на улицу.

По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую подушку».

VI

Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.

— Эй, на бригантине! — раздался сдержанный окрик.

Вахтенный матрос подошел к борту.

— Есть на бригантине, — сонно ответил он, взглядываясь в темноту. — Кого надо?

— Судя по голосу — это ты, Рексен. Встречай Битт-Боя.

— Битт-Бой? В самом деле... — Матрос осветил фонарем шлюпку. — Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?

— После поговорим, Рексен. Кто капитан?

— Вы его едва ли знаете, Битт-Бой. Это — Эскирос, из Колумбии.

— Да, не знаю. — Пока матрос спешно спускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. — Так вы таскаетесь с золотом?

Матрос засмеялся.

— О нет, — мы погружены съестным, собственной провизией нашей да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.

Он спустил трап.

— А все-таки золото у вас должно быть... как я понимаю это, — пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.

— Иное мы задумали, лопман.

— И ты согласен?

— Да, так будет, должно быть, хорошо, думаю.

— Отлично. Спит капитан?

— Нет.

— Ну, веди.

В шели капитанской каюты блеснул свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами.

Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собою, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного

вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым.

— Кто вы? Что привело вас? — спросил он, не повышая голоса.

— Капитан, я — Битт-Бой, — начал лоцман, — может быть, вы слышали обо мне. Я здесь...

Эскирос перебил его:

— Вы? Битт-Бой, «приносящий счастье»? Люди оборачиваются на эти слова. Все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина, вот моя рука и признательность.

Битт-Бой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток, закурил, насильственно рассмеялся.

— К каким берегам тронется «Фелицата»? — спросил он. — Какой план ее жизни? Скажите мне это, капитан.

Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им, — вернее, намерения — толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан пошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться.

— Ну, что же... поговорим, — начал он. — Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер кажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не могли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир — ближе и доступнее. Влечет он меня — весь, как в гости. Я одинок. Прodelал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади — известно. К тому же есть у меня — была всегда — большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще Скалистому Санди, а там внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться, иногда — спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть — временно пустить кор-

ни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер, — ведь хорошо так, Битт-Бой?

— Я слушаю вас, — сказал лощман.

— Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми, и, один по одному, набрались у меня подходящие. Экипаж задумчивых! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь! Вы сказали, что знали Рексена...

— Я знал его и знаю по «Радиусу», — удивленно проговорил Битт-Бой, — но я еще не сказал этого. Я — подумал об этом.

Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.

— Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?

— Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой.

Наступило молчание.

— Так в добрый же час, капитан! — сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом. — Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу.

Приготовив записку, он передал ее Эскиросу.

Там стояло:

«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. «Обстоятельство» совершилось. Прощайте все. — вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня».

Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.

— Снимаемся! — крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.

В душе каждого неся, распевая, свой ветер: ветер кладбища у Битт-Боя, ветер движения — у Эскироса. Капитан

свистнул боцмана. Палуба, не прошло десяти минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось впотьмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща, совершая круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.

Битт-Бой взял руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула Королева Ресниц.

«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево и вел так судно около мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.

Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как бы беззвучный крик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них, от угольно-черных башен крейсера, падал на скалы Лисса огромный голубой луч.

— Не там ищешь, — сказал Битт-Бой. — Однако прибавьте парусов, Эскирос.

Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс.

Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, вверху; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки»:

Не ворчи, океан, не пугай.
Нас земля испугала давно.
В теплый край —

Южный рай —
Приплывем все равно.

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка, без обмана,
Пьет за всех, кому пить лень!

Ты, земля, стала твердью пустой;
Рана в сердце... Седею... Прости!
Это твой
След такой...
Ну — прощай и пусти!

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка, без обмана,
Пьет за всех, кому пить лень!

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня
Корабли,
Да помилует нас!

Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к Эс-тампу, Битт-Бой спросил:

— Мальчик, он долго шпынял тебя?

— Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал.

Эскирос был весел и оживлен.

— Битт-Бой! — сказал он. — Я думал о том, как должны вы быть счастливы сами, если чужая удача — сушиные пустяки для вас.

Слово бьет иногда насмерть. Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.

Эскирос вздрогнул. Выше левого соска, на побелевшей коже, торчала язвенная, безобразная опухоль.

— Рак... — сказал он, трезвея.

Битт-Бой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.

Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее, внизу услышалось только:

«Южный Крест там сияет вдали...» и, после смутного эха, в захлопнувшуюся от качки дверь:

«...Да помилует нас!»

Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лощман Битт-Бой, «приносящий счастье».

1918 г.

СТО ВЕРСТ ПО РЕКЕ

I

Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло после продолжительного бездождия часто загромождалось мелями.

По мере того как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок заметно приходил в нервное, тревожное настроение. Тем, кто с ним заговаривал, он не отвечал или бросал отрывисто «нет», «да», «не знаю». Он беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе, или, сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями. Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами. В одно из этих посещений каюты он долго сидел

на складном стуле, закрыв лицо руками, и когда опустил их, взгляд его выражал крайнее угнетение.

В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка, лет двенадцати — двенадцати двух, ехавшая одна. Встревоженное печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благолетельного парходного дыма. Она была худощава, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного, простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности. Вглядевшись пристальнее в лицо девушки, в особенности в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, наблюдатель заметил бы давно утраченную нами свежесть и остроту впечатлений, слерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишних и волчьих ягодах. Серая шляпа с голубыми цветами, дорожное простое пальто, такое же, с глухим воротничком платье и потертая сумочка, висевшая через плечо, придавали молодой особе оттенок деловитости, чего она, конечно, не замечала.

Занятая одной мыслью, одной целью — скорее попасть в город, молодая девушка, с свойственной ее характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Она говорила с капитаном, его помощником и парходными агентами; все они твердили одно: «Муху» не починить здесь; надо ждать следующего пархода, а когда он заблагорассудит явиться — сказать трудно, даже подумав».

Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренне кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека. Нок в это время сидел в каюте; перед ним на койке ле-

жал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая; наконец, не торопясь, встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку, а револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась в стороне от группы расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.

Он шел бы так очень долго — день, два и три, если бы, удалившись от парохода шагов на двести, не увидел за песчаной косой лодку, почти прикившую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шляпы. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки. Нок остановился, подумав: «Не надо ему говорить о пароходе и взрыве».

— Здравствуй, старикан! — сказал он. — Много ли рыбы поймал?

Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока проницательно-смекалистым взглядом.

— Это вы здесь откуда? — развязно спросил он. — Какое явление!

— Простая штука, — пояснил Нок. — Я с компанией приехал из Л. (он назвал город, лежащий далеко в сторону). Мы неделю охотились и теперь скоро вернемся.

Нок очень непринужденно сказал это; старик с минуту обдумывал слышанное.

— Мне какое дело, — заявил он, раскачивая ногами лодку. — Рыбы не купите ли?

— Рыбы... нет, не хочу. — Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь. — Вот что, послушай-ка: продай лодку!

— Я их не сам делаю, — прищурившись, возразил старик. — Мне другую лодку взять негде... К чему же вам эта посудина?

— Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу подшутить над приятелем; вот тут нам лодка и нужна. Я говорю серьезно и за деньгами не постою.

Рыбак прогрезвел. Он хмуро смотрел на приличный костюм Нока, думая — «и все вот так, сразу: никак не дадут подумать, обсудить, неторопливо, дельно...» Он не любил, если даже рыбу покупали с двух слов, без торга. Здесь отлетал дух его хозяйственной самостоятельности, так как не на что было возражать и не о чем кипятиться.

«А вот назначу столько, что заскрипишь, — думал старик. — Если богат, заплатит. Назад я, видимо, отправлюсь пешком, а о моей второй лодке тебе, идиоту, знать нечего. Допустим! Деньги штука приятная».

— Пожалуй, лодку я вам за пятьдесят рублей отдам (она стоила вчетверо меньше), так уж и быть, — сказал рыболов.

— Хорошо, беру. Получай деньги.

«Я дурак, — подумал старик. — Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший... «Пятьдесят?» — «Пятьдесят!» — он кивнул, а я вылезай из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Нет, пятьдесят мало».

— Я, того, раздумал, — нахально сказал он. — Мне так невыгодно... Вот сто рублей — дело другого рода.

У Нока было всего семьдесят — восемьдесят рублей.

— Мошенник! — сказал молодой человек. — Мне денег не жалко, противна только твоя жадность; бери семьдесят пять и вылазь.

— Ну, если вы еще с дерзостями, — никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас!

Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в чем дело. Обособленность положения была такова, что покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда. Человек, взявший лодку, мог бы довести и ее, Гелли.

Решившись наконец высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый, с одной стороны, вином, с другой — раздражением, принял подобие взаимных наскоков. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор: старик, увидев еще людей, мог задуматься вообще над будущим лодки, а человек, шедший к воде, одной случайной фразой мог выдать пьянице всю остроту положения множества пассажиров, среди которых старик нашел бы, разумеется, людей стоворчивых и богатых.

Нок сказал:

— Подожди-ка здесь, я скоро вернусь.

Он торопливо скрылся, желая перехватить илущего как можно далее от воды. При выходе из кустов Нок встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.

«Да, женщина, — бросил он себе с горечью, но и с самодовольством опытного человека, глубоко изучившего жизнь. — Чему удивляться? Ведь это их миссия — становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю».

Гелли растерянно, с слабой улыбкой смотрела на его неприязненное сухое лицо.

— Очень прошу вас, — прошептал Нок с оттенком приказа, — не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, притом никто не обязан выказывать любопытства.

— Извините, — потерявшись, тихо заговорила Гелли. — Это вы говорили так громко о лодке? Я не знаю с кем. Но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган.

— Вы очень самонадеянны... — начал Нок; девушка мучительно покраснела, но по-прежнему смотрела прямо в глаза, — если вам кажется...

— Ни любопытство, ни грубость не обязательны, — глухо сказала Гелли, гордо удерживая слезы и поворачиваясь уйти.

Нок остыл.

— Простите, прошу вас, — шепнул он, соображая, что может лишиться лодки, — подождите, пожалуйста. Я сейчас, сию минуту скажу вам.

Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово «простите», по ее простодушному мнению, все-таки обязывало выслушать виноватого. Может быть, он употребил не те выражения, потому что торопился уехать.

Нок стоял, опустив руки и глаза вниз, словно искал в траве потерянную монету. Он наскоро соображал положение. Присутствие Гелли толкнуло его к новым выводам и новой оценке случая, помимо доплаты денег за лодку.

— Хорошо. — сказал Нок. — Вы можете ехать со мной. В таком разе, — он слегка покраснел, — доплатите недостающие двадцать рублей. У меня не хватает. Но, предупреждая вас, не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело.

— Уверю вас, я не думала об этом, — возразила девушка послушным, едва слышным шепотом, — вот деньги; а вещи...

— Не берите их.

— Как же быть с ними?

— Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и гребуйте их наложенным платежом. Все будет цело.

— Но плед...

— Бегите же скорее за пледом, и никому ни слова, — слышите? — ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны — прощайте!

— О нет, благодарю, благодарю вас... Я скоро!

Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами. Она знала также, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, теоретически ей яс-

ном, но в душе она глубоко не верила этому. Случаи подобного рода она считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни.

Рыбак, боясь, что сделка не состоится, крикнул:

— Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где?

— Тут же, — сказал Нок, выходя к лодке. — Получай денежки. Я ходил только к нашему становищу взять из пальто твою мзду.

Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху и умиленно проговорил:

— Ну, и один же стаканчик водки бы старому папе Юсу!.. Вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще...

Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.

— Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами, — сказал он, — пересеки ее и подайся от берега прямо в лес, там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а два и три стаканчика водки.

Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты.

— Так вот пряменько идти мне?

— Пряменько, очень пряменько. Водка хорошая, старая, холодная.

— А вы, — старик подмигнул, — шутки свои шутить приметесь?

— Да.

— И великолепно. А я вот чирикну водочки, да и домой. «Убирайся же», — подумал Нок.

Рыбак, еще раз подмигнув, скрылся. Нок стал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через три, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась; плечи и голову ее окутывал серый плед.

— Садитесь же, садитесь, — торопил Нок. — Вам руль, мне весла. Уместе?

— Да.

Они уселись.

«Романтично! — съязвил про себя Нок, отталкивая веслом лодку. — Моему мертвому сердцу безопасны были бы даже полчища Клеопатры, — прибавил он. — и вообще о сердце следовало бы забыть всем».

Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухал, напоминая дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула утка; тишину осенил быстрый свист крыльев; а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным, одиноким звуком речной ночи.

II

Нок несколько повеселел от того, что едет, удаляется от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины Нока примиряло его господствующее положение; пассажирка была в полной его власти, и хотя власть эту он и не помышлял употребить на что-нибудь скверное, все-таки видеть возможность единоличного распоряжения отношениями было приятно. Это слегка сглаживало обычную холодную враждебность Нока к прекрасному полу. У него совсем не было желания говорить с Гелли, однако, сознав, что надо же выяснить кое-что неясное для обоих, Нок сказал:

— Как вас зовут?

— Гелли Сод.

— Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?

— Очень хорошо.

— Держите, Гелли, все время саженьх в двадцати от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу... Хех!

Он вскрикнул так, потому что зацепил веслом о подводный древесный лом. Но в резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольной и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему, хотя бы ради отца? Она даже не знает его имени! Жуток был не столько момент испуга, сколько боязнь пугаться все время, быть тоскливо настороже. В это время Нок выпустил весла, зажег спичку и засопел трубкой; в свете огня его лицо с опущенными на трубку глазами, жадно рассмотренное Гелли, показалось молодой девушке, к великому ее облегчению, совсем не страшным, — лицо как лицо. И даже красивое, простое лицо... Она тихонько вздохнула, почти успокоенная, тем более что Нок, закурив, сказал:

— Мое имя — Трумвик. — Имя это он сочинил теперь и, боясь сам забыть его, повторил раза два: — Да, Трумвик, так меня зовут; Трумвик.

Про себя, вспомнив мнемонику, Нок добавил:

— Трубка, вика*.

— Долго ли мы проедем? — спросила Гелли. — Меня заставляет торопиться болезнь отца... — Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за поныкание. — Я говорю вообще, приблизительно...

— Так как я тоже тороплюсь, — значительно сказал Нок, — то знайте, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее, как послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше ста верст.

* Гороховое растение.

— Благодарю вас. — Она, боязливо рассмеявшись, сообщила: — У меня есть несколько бутербродов и немного сыру... так как достать негде, вы...

— Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно.

«Все они материалистки, — подумал Нок. — Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности; река, ее течение — символ вечности... и — что еще?»

Но он забыл — что, хотя настроение продолжало оставаться подавленно-возвышенным. Нок принялся думать о своем диком, тяжком прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду.

Гелли благодаря странности положения испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некоей книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет порядки, осмотрит лекарства, постель — все. Ее деятельной душе требовалось, хотя бы мысленно, делать что-то. Стараясь избежать новых замечаний Нока, она до утомления добросовестно водила рулем, не выпуская глазами темный завал берега. Ей хотелось есть, но она стеснялась. Они плыли молча минут пятнадцать; затем Нок, тоже проголодавшись, угрюмо сказал:

— Закусим. Оставьте руль. — Он выпустил весла. — Мои сардинки еще не высохли... так что берите.

— Нет, благодарю, вы сами.

Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо

следит за ней, и бутерброды, хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась кончить есть. Нок продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.

— Ночь, кажется, не будет очень холодной, — сказала, слегка все же вздрагивая от свежести, девушка.

Она сказала первое, что пришло в голову, чтобы Нок не думал, что она думает: «Вот он ест».

— Пароход теперь остался отсюда далеко.

Нок что-то промычал, поперхнулся и бросил коробку в воду.

— Час ночи, — сказал он, подставив к спичке часы. — Вы, если хотите, спите.

— Но как же руль?

— Я умею управлять веслами, — настоятельно заговорил Нок, — а от вашего сонного правления рулем часа через два мы сядем на мель. Вообще я хотел бы, — с раздражением прибавил он, — чтобы вы меня слушались. Я гораздо старше и опытнее вас и знаю, что делать. Можете прикорнуть и спать.

— Вы... очень добры, — нерешительно ответила девушка, не зная, что это: раздражение или снисхождение. — Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.

Нок, ничего не сказав, сплюнул.

«Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная, здесь... Как они умеют окутывать паутиной! «Вы очень добры...», «Благодарю вас», «Не находите ли вы...» Это все инстинкт пола, — решил Нок, — бессознательное к мужчине. Да».

Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на лодке, или высадиться верст за пять от города — ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной Юсовой водке и приметы Нока вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз

похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер, и кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.

— Вы спите? — спросил Нок, взглядываясь в темный оплыв кормы.

Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Корма на фоне менее темном, чем лодка, казалась пустой; Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на дек кормы; видны были только закрытый глаз, лоб и висок; все вместе представлялось пушистым комком.

— Ну и довольно о ней. — сказал Нок, бросая спичку. — Когда женщина спит, она не вредит.

Поддерживая нужное направление веслами, он согласно величавой хмурости ночи вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажить, если он уцелеет, так, чтобы не было места самообманам, увлечениям и раскаяниям. Прежде всего — нужно быть одиноким. Думая, что прекрасно изучил людей (а женщин в особенности), Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренне не сливаться с ними и так, приказав сердцу молчать всегла, встретить конец дней. Возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты.

Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно-больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом?.. «Да, да, — говорит бодрый вид доктора, — конечно, вы находитесь здесь по недоразумению и все вообще обстоит прекрасно...» Однако доктор не дурак: он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных, так сказать, бесполезно. Они ему не компания.

Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли, — до Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, река ясна, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на деревенские руки: пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.

— Однако пора будить этого будуарного человека, — сказал Нок о Гелли. — Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет.

Он направил лодку к песчаному заливчику, лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слипающимися глазами.

III

— Это вы, — успокаиваясь, сказала она. — Всю ночь я спала. Я не сразу поняла, что мы едем.

Ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяной, другая бледной.

Нок сказал:

— Ну, нам, видите ли, осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.

Гелли погладила рукой грудь; булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой

рубашки. Заметив это, Гелли смутилась — она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина, а так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение; Гелли уронила булавку, и когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.

— Хорошо, что булавка железная, — сказал Нок. — Ее легко гнуть; стальная сломалась бы.

Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней Нок. Сказав, что пойдет вырезать удочку, он потерялся в кустах, и Гелли в продолжение нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила «собраться с мыслями». Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Крепкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блистала лучистая паутина.

Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли, переполненная восхищением, громко сказала:

— Какое дивное утро!

Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но против воли сияла бессознательным оживлением.

«Ну, что же, — враждебно подумал он, — не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри! Ничего не выйдет из этого».

— Извините, — холодно сказал он. — Ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.

— Я не кричала, — ответила Гелли, сжавшись.

Незаслуженная, явная грубость Нока сразу расстроила и замутила ее. Желая пересилить обиду, она спустилась к воде, тихо напевая что-то, но, опасаясь нового замечания, умолкла совсем.

«Он положительно меня ненавидит; должно быть, за то, что я напросилась ехать».

Эта мысль вызвала припадок виноватости, которую она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.

— Вы напрасно сердитесь, Трумвик, — сказала Гелли, — не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении... Я ухватилась за вас поневоле.

— Это о чем? — рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученной из похищенных в бортах пиджака конских волос. — Отойдите, Гелли, ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал... И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми... Ключет!

Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.

— Рыба! Большая! — вскричала Гелли.

Нок, гордый удачей, ответил так же азартно, оглушая скачущую в руках рыбу концом удилища:

— Да, не маленькая. Фунта три. Рыба, знаете, толстая и тяжелая: мы ее зажарим сейчас. — Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу; затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей, но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала две-три сухих ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики, величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно; повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких, и скоро, поблизости уха, услышал второе, очень старательное, прерывистое «фу-у-у! фу-у-у!». Гелли, упираясь в землю кулачками с сжатыми в них щепочками, усердно вкладывала свою долю труда; дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, крепко схватил хворост.

— Ну, будет! — сказал Нок. — Принесите рыбу, вон она! Гелли повиновалась.

Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.

Разделив его прутиком, Нок сказал:

— Ешьте, Гелли, хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем.

— Я знаю это, — задумчиво произнесла девушка.

Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг; бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад — такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени. Она

молча смотрела, как Нок, спрятав лодку под свесившимися над водой кустами, набил и закурил трубку; как, мельком взглядывая на спутницу, хмуро и тягостно улыбался, и странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось, чтобы Трум-вик поскорее уснул; это казалось ей все-таки делом, приближающим час отплытия.

— Вы хотели заснуть, — сказала Гелли, — по-моему, вам это прямо необходимо.

— Я вам мешаю?

— В чем? — Раздосадованная его постоянно придиричьим тоном, Гелли сердито пожала плечами. — Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки.

— Я ведь не женщина, — торжественно заявил Нок, — меньше сна или больше — для меня безразлично. Если я вам мешаю...

— Я уже сказала, что нет! — вспыхнула, тяжело дыша от кроткого гнева, Гелли. — Это я, должно быть, — позвольте вам сказать прямо, — мешаю вам в чем-то... Тогда не надо было ехать со мной. Потому что вы все нападете на меня!

Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями небо, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора. Боясь, что Гелли расплачется, отняв у него тем самым — и безвозвратно — превосходную позицию сильного, презрительного мужчины, Нок понял необходимость придать этому препирательству «серьезную и глубокую» подкладку — немедленно; к тому же он хотел наконец высказаться, как хочет этого большинство искренне, но недавно убежденных в чем-либо людей, ища слушателя, убежденного в противном; здесь дело обстояло проще: самый пол Гелли был отрицанием житейского мировоззрения Нока. Нок сначала нахмурился, как бы проявляя

этим осуждение горячности спутницы, а затем придал лицу скорбное, горькое выражение.

— Может быть, — сказал он, веско посылая слова, — я вас и задел чем-нибудь, Гелли, даже наверное задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно; вы — женщина; если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто, — для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть, представительницу мирового зла. Да! Женщины — мировое зло!

— Женщины? — несколько оторопев, но успокаиваясь, спросила Гелли. — И вы думаете, что все женщины...

— Решительно все!

— А мужчины?

— Вот чисто женский вопрос! — Нок подложил табаку в трубку и покачал головой. — Что «а мужчины?..» Мужчины, могу сказать без хвастовства, — начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное!

«Разрушительное начало», взбудораженное до глубины сердца, с минуту, изумленно подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.

— Но... Послушайте, Трумвик! — Нок заговорил языком людей ее круга, и она сама стала выражаться более легко и свободно, чем до этой минуты. — Послушайте, это дерзость, но думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. В чем же показали себя с такой черной стороны мы?

— Вы неорганизованная стихия, злое начало.

— Какая стихия?

— Хоть вы, по-видимому, еще девушка, — Гелли побагровела от волнения, — я могу вам сказать, — продолжал, помолчав, Нок, — что... значит... половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает вас в свою пропасть.

— Об этом я говорить не буду, — звонко сказала Гелли, — я не судья в этом.

— Почему?

— Глупо спрашивать.

— Вы отказываетесь продолжать этот разговор?

Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец потребность быть всегда искренней взяла верх; посмотрев прямо в глаза Нокку чистым и твердым взглядом, Гелли храбро сказала:

— Я сама еще не женщина; поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о... физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет!

— Тогда знайте. — раздраженно заговорил Нок, — что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограничены. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны.

Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжение получаса рисовал перед присмирившей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно наконец не предаст проклятью любовь. Любовь, по его мнению, — вечный обман природы, — следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах.

— Вы, Гелли, — сказал он, — еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.

Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину, — жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли делается змеей, ехидной, носителем мирового зла.

— У Шекспира есть, правда, леди Макбет, — возразила она, — но есть также Юлия и Офелия...

— Неврастенические самки, — коротко срезал Нок.

Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: «Я познакомила бы вас с мамой, не умри она четыре года назад»; теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык «самок» миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать. Нок, не заметив хмурой натянутости в ее лице, сказал, разумея себя под переменою «я» на «он»:

— У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу... этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той — дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...

Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила, в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.

— Что же, — вполголоса договорил Нок, — он попал на каторгу.

Наступило внимательное молчание.

— Он и теперь там? — принужденно спросила Гелли.

— Да.

— Вам его жалко, конечно... и мне жалко, — поспешно прибавила она, — но поверьте, Трумвик, человек этот не виноват!

— Кто же виноват?

Нок затаил дыхание.

— Конечно, она.

— А он?

— Он сильно любил, и я бы не осудила его.

Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.

«Догадалась или не догадалась? Э, черт! — решил он. — Мне, в сущности, все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выпрашивать, а мне более ничего не нужно».

— Я засну. — Он встал, потягиваясь и зевая.

— Да, засните, — сказала Гелли, — солнце высоко.

Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне, — как ни странно, как это ни противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой, он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему, сзади и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Открыв глаза, он увидел будившую его Гелли, и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Стемнело. Красное веко солнца скрывалось за черным берегом; сырость, тяжесть в голове и грозное настоящее вернули Нока к его постоянному, за последние дни, состоянию угрюмой настороженности.

— Простите, я разбудила вас, — сказала Гелли, — нам пора ехать.

Они сели в лодку; снова зашумела вода; около часа они плыли не разговаривая; затем, слыша, как Нок часто и хрипло дышит (подул порывистый встречный ветер, и вода взволновалась), Гелли сказала:

— Передайте мне весла, Трумвик, вы отдохните.

— Весла тяжелые.

— Ну, что за беда! — Она засмеялась. — Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте весла.

— Как хотите, — ответил Нок.

«Пускай гребет, в самом деле, — подумал он, — голосок-то у нее стал потверже, это сбить надо».

Они пересели. Нок услышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли

еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и, что хуже всего, ее ногам не было точки опоры, они не доставали до вделанного в дно лодки, специально для упора ногам, деревянного возвышения. Ноги Гелли беспомощно скользили по дну, и с каждым взмахом весел тело почти съезжало с сиденья. Отгребасмая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу, но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и под конец двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком прошлом, встрепенулся и прислушался: весла ударяли вразброд, слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку.

— Ага! Гелли! — сказал он. — Возвращайтесь на свое место, довольно!

Она не могла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное, с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но и выпуская, все еще пыталась взмахнуть ими как заведенная. Она открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.

— Ну что? — с внезапной жалостью спросил Нок.

— Нет, ничего, — через силу ответила она, стараясь отдышаться сразу. Затем боязнь насмешки или укола заставила ее гордо выпалить довольно смелое заявление: — Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелы... Только ручки у них толстые, — наивно прибавила она.

Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут. Но он постарался придать иное на-

правление мыслям, готовым пристально остановиться на этом гордом и добром существе. Однако у него осталось такое впечатление, как будто он шел и вот зачем-то остановился.

Тучи сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем, перестав грести, сказал:

— Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде невыносимо; лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу.

IV

Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий, высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури, и Нок нашел нужным предупредить девушку об этом.

— Мы вымокнем, — сказал он, — с чем примиритесь заранее — некуда скрыться. Вы боитесь?

— Нет, но неприятно останавливаться.

— Ужасно неприятно.

Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Тучи, спустившиеся над лесом с решительной мрачностью нападения, задавили наконец единственный густо-синий просвет неба, и тьма стала полной. Было сиротливо и холодно; птицы, вспархивая без крика, летели низом вихляющим трусливым полетом. Свет молнии, вспыхивав-

ший пока редко, без грома, показал Ноку, за обрывом, лису, нюхавшую воздух; острая ее морда и поджатая передняя лапа исчезли мгновенно, как появились.

Междущарствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая поросль затрепетала как в лихорадке. Листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец скакнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню.

Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Они задыхались. Ветер душил их; ему помогал ливень такой чудовишной щедрости, что лес быстро наполнился шумом ручьев, рожденных грозой. Гром и молния чередовались в диком соперничестве, заливающим землю приступами небесного грохота и непрерывным, режущим глаз, холодным, как дождь, светом, в дрожи которого деревья, казалось, шатаются и подскакивают.

— Гелли! — закричал Нок. — Мы все равно больше не сможем. Выйдем на открытое место! Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться; видите, что творится кругом.

Держа девушку за руку, ежеминутно расплзаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг он заметил огненную неподвижную точку. Обойдя куст, мешавший внимательно рассмотреть это явление, Нок различил огромный переплет, находившийся так близко от него, что виден был огарок свечи, воткнутый в бутылку, поставленную на стол.

— Гелли! — сказал Нок. — Окно, жильс, люди! Вот-вот, смотрите!

Ее рука крепче оперлась о его руку, девушка радостно повторила:

— Окно, люди! Да, я вижу теперь. О, Трумвик, бежим скорей под крышу! Ну!

Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в своем положении. Наконец, сам измученный и озябший, рассчитывая, что в подобной глуши мало шансов знать кому-либо его приметы и бегство, а в крайнем случае положившись на судьбу и револьвер, Нок сказал:

— Мы пойдем, только, ради Бога, слушайте меня, Гелли: не объясняйте сами ничего, если вас спросят, как мы очутились здесь. Неизвестно, кто живет здесь; неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина; согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная.

Гелли плохо понимала его; вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно желание — скорее попасть в сухое, крытое место.

— Да, да, — поспешно сказала девушка, — но, пожалуйста, Трумвик, идем!

Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой, без изгороди и двора хижины.

Нок потряс дверь.

— Кто стучит? — воскликнул голос за дверью.

— Застигнутые грозой, — сказал Нок, — они просят временно укрыть их.

— Что за дьявол! — с выражением изумления, даже пораженности, откликнулся голос. — Медор, иди-ка сюда, эй ты, лохматый лентяй!

Послышался хриплый глухой лай.

Неизвестный, все еще не открывая дверей, спросил:

— Сколько вас?

— Двое.

— Кто же вы, наконец?

— Мужчина и женщина.

— Откуда здесь женщина, любезнейший?

— Скучно объясняться через дверь, — заявил Нок, — пустите, мы устали и смокли.

Наступила короткая тишина; затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:

— Я вас пушу, но помните, что Медор без намордника, а в руках я держу двуствольный штуцер. Входите по одному; первой пусть войдет женщина.

Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько притерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и в низком, грязном, но светлом помещении появилась совсем мокрая, тяжело дышащая, бледная, слегка оробевшая девушка, в шляпе, изуродованной и сбитой набок дождем. Гелли стояла в луже, мгновенно образовавшейся на полу от липнувшей к ногам юбки. Затем появился Нок, в не менее жалком виде. Оба одновременно сказали «уф» и стали осматриваться.

V

Хозяин хижины, оттянув собаку за ошейник от ног посетителей, на которых она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать, загнал ее двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока. Хозяин был в цветной шерстяной рубахе с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные, жидкие волосы, всером спускаясь к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный. Костлявый, невысокого роста, лет сорока — сорока пяти, человек этот, с румяным, неприятно открытым лицом, с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин, и вздернутой

верхней губой, открывавшей крепкие желтоватые зубы, производил смутное и мутное впечатление. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминающее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под окнами с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.

— Так вот, дорогие гости, — сказал, несколько нараспев и в нос, неизвестный, — садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирало. Садитесь, грейтесь.

Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.

— Давайте знакомиться, — добродушно продолжал хозяин, отставляя ружье в угол. — Ах, бедная барышня! Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок, — а, барышня?

Гелли поблагодарила очень сдержанно, но так тихо и ровно, что трудно было усомниться в ее желании съесть и выпить что-нибудь. Злосчастная рыба давно потеряла свое подкрепляющее действие. Нок тоже был голоден.

Он сказал:

— Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть.

— Разве берут деньги в таком положении? — обиженно возразил охотник. — Чего там! Ешьте, пейте, отдыхайте — я всегда рад услужить, чем могу.

Все это произносил он раздельно, открыто, радушно, как заученное. На столе появились хлеб, холодное мясо, горя-

чая, с огня, масляная лепешка и котелок, полный густым кофе. Собирая все это, охотник тотчас же заговорил о себе. Больше всего он зарабатывает продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Он даже предложил показать, как птицы подражают музыке. и бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.

— Ах, я дурак, — сказал он, — молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их!

— Кстати, — он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор, — вверху тоже дожди?

— Мы едем снизу, — сказал Нок, — в Зурбагане отличная погода... Как вас зовут?

— Гутан.

— Милая, — нежно обратился Нок к девушке, — что, если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь?

Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником.

Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Ее руки дрожали, а голос был не совсем бодр, когда она, отбросив наконец опасное колебание, тихо сказала:

— Делай как знаешь.

Гроза стихала.

Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.

— Конечно, я на вашей стороне, — сочувственно сказал он, — семейный деспотизм штука ужасная. Только как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст десять назад. Там есть отличный священник, в полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сушиные пустяки...

— Что же, беда не велика, — спокойно сказал Нок, — все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить

было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот заговорились — и просмотрели деревню.

— Поедем, — сказала Гелли, вставая. — Дождя нет.

Нок пристально посмотрел в ее блестящие, замкнутые глаза.

— Ты волнуешься и торопишься, — медленно произнес он. — не беспокойся: все устроится. Садись.

Истинный смысл этой фразы казался непонятным Гутану и был очень недоверчиво встречен девушкой, однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться.

Охотник подошел к очагу. Неторопливо поправив дрова, он, стоя спиной к Ноку, сказал:

— Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что: опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы; одного поймали вблизи Варда, а другой...

Он повернулся как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице, и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой, неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо Нока, был бы оглушителен для слабой души, но молодой человек, захлебнувшись кофе, разразился таким кашлем, что побагровел и согнулся.

— ...другой, — продолжал охотник, терпеливо выждав конца припадка, — бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете, и приметы их там указаны.

— Да? — весело сказала Гелли. — Но нас, знаете, грабить не стоит, мы почти без денег... Как называется эта желтая птичка?

— Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.

Нок рассмеялся.

— Гелли трудно напугать, милый Гутан! — вскричал он. — Что касается меня, я — совершенный фаталист во всем.

— Вы, может быть, правы, — согласился охотник. — Советую вам посмотреть лодку, — вода прибыла, лодку может умчать разливом.

— Да, правильно. — Нок встал. — Гелли, — громко и нежно сказал он, — я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. Не беспокойся, я помню, где лодка, и не заплутаюсь.

Он вышел. Гелли знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая до конца, как мог, с опасной судьбой.

Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее, говоря:

— Это певчие дрозды, барышня, чудачки, страшные обжоры, во-первых, и...

Но эта бесцельная болтовня, видимо, стесняла его. Подойдя к Гелли вплотную, он, перестав улыбаться, быстро и резко сказал:

— Будем вести дело начистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?

Даже чрезвычайное возбуждение с трудом удержало Гелли от улыбки, — так ясно было, что охотник поддался заблуждению. Впрочем, присутствие Гелли трудно было истолковать в ином смысле — ее наружность отвечала самому требовательному представлению о девушке хорошего круга.

— Мне кажется, да, знаю, — холодно ответила Гелли, вставая и выпрямляясь. — Объясните ваш странный вопрос.

Гутан взял с полки газету, протянул Гелли истрепанный номер.

— Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.

Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось ко второму каторжнику, Гелли прочла:

«...и Нок, двадцати пяти лет, среднего роста, правильно и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие; лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно, величиной с боб; маленькие руки и ноги; брови короткие; других примет не имеет. Каждый, обнаруживший местонахождение указанных лиц или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию или же, в случае невозможности этого, поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда».

Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало — и окончательно — самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться.

Вздохнув, она возобновила игру.

— Боже мой! Какой ужас!

— Да, — с грубой торопливостью подхватил Гутан, не замечая, что отчаянное восклицание слишком подозрительно скоро прозвучало из уст любящей женщины. — Не мое дело допытываться, как он, и так скоро, обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу.

— Я очень обязана вам, — сказала Гелли с чувством глубокого отвращения к этому человеку. Она, естественно, тяжело дышала; не зная, чем кончится мрачная история вечера, Гелли допускала всякие ужасы. — Как видите, я потрясена, растерялась. Что делать?

— Помогите задержать его, — сказал Гутан, — и, клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться... — Он пренебрежительно окинул взглядом жалкий костюм Гелли. — Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову.

Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышавшей здоровьем щеке охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.

— Хорошо, согласна! — твердо произнесла она. — Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его?

— Нет. Он ушел спокойно. Даже если и догадается, что маска сорвана, — одного меня он, конечно, не побоится. У него — револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета. Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведете его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе, — Гутан угрожающе понизил голос, — я осрамлю вас на весь город.

— Хорошо, — едва слышно сказала Гелли. Она говорила и двигалась, как бы в ярком сне, где все решения мгновенны, полны кошмарной тоски и тайны. — Да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю.

— Улыбайтесь же! Улыбайтесь! — вдруг крикнул Гутан. — Вы побелели! Он идет, слышите?!

Звук медленных, за дверью, шагов, приближающихся как бы в раздумье, был слышен и Гелли. Она придвинулась к двери. Нок, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.

— Нок, — громко сказала она; охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение, но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Это произошло так быстро, что, поспешно переступая порог, чтобы не видеть свалки, Гелли успела только проговорить: — Защищайтесь, — это я хотела сказать.

Последним воспоминанием ее были два мгновенно преобразенных мужских лица.

Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай; выстрел; второй, третий; два крика; сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу; в полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания;

спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец кто-то, черный от падающего сзади света, вышел из хижины.

— Гелли! — тихо позвал Нок.

— Я здесь.

— Пойдемте. — Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю разбитую губу.

— Вы... убили?

— Собаку.

— А тот?

— Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это... Самому разжимать рот...

— О, бросьте это! — брезгливо сказала Гелли.

Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся казовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень молодой душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу — противно.

Нок, приподняв лодку, освободил ее этим от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно.

Несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и приналег в гребле. Тогда, почувствовав, что связанный и застреленная собака отрезаны наконец от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервам; она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему, — особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, какое пришлось выказать у Гутана.

— Ради Бога, не плачьте, Гелли! — сказал, сильно стрададая, Нок. — Я виноват, я один.

Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли. Она ответила:

— Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться, или вы не понимаете этого? Вероятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину.

— Да, но я теперь только узнал вас, — с грустной прямолинейностью сообщил Нок. — Моя сказка о священнике и браке не помогла: он знал, кто я. А помогла бы... Как и что сказал вам Гутан, Гелли?

Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку.

«Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу, — подумала она, но тут же отчески пожалела уныло молчавшего Нока. — Вот и присмирел».

И Гелли рассмеялась сквозь необсохшие слезы.

— Что вы? — испуганно спросил Нок.

— Ничего; это — нервное.

— Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. — Помолчав, он решительно спросил: — Так вы догадались?

— Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю с вашим приятелем?! Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу; купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась; вы спали, и здесь, почему-то снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: «Его приятель — он сам»; плохим другом были вы себе, Нок! И, право, за эти две ночи я постарела не на один год.

— Вы поддержали меня, — сказал Нок, — хорошо, человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал.

— А другие?

— Другие? Вот...

Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве,

работе, мрачном своем романе и каторге. Его мать умерла скоро после его рождения, отец бил и тридцать раз выгонял его из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча в парке при подкупающих звуках оркестра с прекрасной молодой женщиной были переданы Ноком весьма сжато; он хотел рассказать главное — историю отношений с Темезой. Насколько поняла Гелли, — крайняя идеализация Ноком Темезы и была причиной несчастья. Он слепо воображал, что она совершенна, как произведение гения, — так сильно и пылко хотелось ему сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой.

Но он-то был для своей избранницы всего пятой, по счету, прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее — немного, затем надосла. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного в конце концов мужа с новым любовником, Темеза — отчасти искренне, отчасти из подражания героиням уголовных романов, — стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, стояла, в ее глазах, безвыездного житья за границей.

Нок был так подавлен и ошеломлен вероломством скрывшейся от него — к новой любви — Темезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке он понял, к чему пришел.

— Что вы намерены делать? — спросила Гелли. — Вам хочется разыскать ее?

— Зачем?

Она молчала.

Нок сказал:

— Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните.

— Какой сон!

«Однако я ведь ничего не могу для него сделать, — огорченно думала Гелли. — Может быть, в городе... но что? Прянуть? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае я выпрошу у отца денег».

Она успокоилась.

— Нок, — равнодушно сказала девушка, — вы зайдете со мной к нам?

— Нет, — твердо сказал он, — и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше.

Но — мысленно — он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда ответственность настроений заменяет слова.

Когда в бледном рассвете, насквозь продрогшая, с синевой вокруг глаз, пошатывающаяся от слабости, Гелли услышала отрывистый свисток паровоза, — звук этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом; невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши.

Нок высадил Гелли.

— Ну вот, — угрюмо сказал он, — вы через час дома... Все.

Вдруг он вспомнил свой сон под явором, но не это предстояло ему.

— Так мы расстаемся, Нок? — сердечно спросила Гелли. — Слушайте, — она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку. — Это мой адрес. В крайнем случае — запомните это. Поверьте этому — я помогу вам.

Она подала руку.

— Прощайте, Гелли, — сказал Нок, — и... простите меня.

Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбацкой лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться через немного шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она

подняла обе руки, быстро вытянув их, ладонями вперед, к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга.

Нок прочитал адрес: «Трамвайная ул., 14-16».

— Так, — сказал он, разрывая бумажку, — ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес. Но теперь никто не прочитает его. И я к тебе не приду, потому что... о Господи!.. люблю!..

VI

Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок не колебался, он строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли, безотносительно к ее приглашению, почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было само по себе защитой и утешением — не против внешнего, но того внутреннего, самого оскорбительного, что неизменно ранит даже самые крепкие души в столкновении их с насилием.

Косой отсвет фонаря напоминал о жилом месте и, главное, об еде. От крайнего угла здания отделяли кусты пространством сорока — пятидесяти шагов. На смутно различаемом перроне двигались тени. Нок не хотел идти в здание станции; на такое безумство — еще в нормальном, сравнительно, состоянии — он не был способен, но стремился, побродив меж запасных путей, найти будку или сторожку, с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, который, по недалекости и добродушию, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, даст за деньги перекусить.

Нок пересек главную линию холодно блестящих рельс саженях в десяти от перрона и, нырнув под запасный поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Они тянулись вправо и влево; нельзя было угадать в темноте, где концы этих нагромождений. В любом направлении — окажись здесь десятки вагонов — Нока могла ждать неприятная или роковая встреча. Он пролез еще под одним составом и снова, выпрямившись, увидел неподвижный глухой поезд. По-видимому, тут, на запасных путях, стояло их множество. Отдохнув, Нок пополз дальше. Почти не разгибаясь даже там, где по пути оказывались тормозные площадки, — так болела спина, — он выбрался в конце концов на пустое, в широком расхождении рельс, место; здесь, близко перед собой, увидел он маленькую, без дверей будку, внутри ее горел свечной огарок; сторожа не было; над грубой койкой, на полках, лежал завернутый в тряпку хлеб рядом с бутылкой молока и жестянкой с маслом. Нок осмотрелся.

Действительно, кругом никого не было; ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но неотразимое ощущение опасности повисло над душой беглеца, когда, решившись взять хлеб, он протянул наконец осторожную руку. Ему казалось, что первый же его шаг прочь от будки обнаружит притаившихся наблюдателей. Однако тряпка из-под хлеба упала на пол без сотрясения окружающего, и Нок уходил спокойно, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас не набить рот влажным мякишем. Он шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева — песчаная дорожка и за ней выступы палисадов; верхи деревьев уныло чернели в полутьме неба.

Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря; некто, остановившись, хмуро спросил:

— Зачем вы ходите здесь?

Нок отшатнулся.

— Я... — сказал он и, вдруг потеряв самообладание, зная, что растерялся, вскочил на первую попавшуюся подножку. Нога Нока, крепко и молча схваченная внизу сильной рукой, выдернулась быстрее щелчка.

— Стой, стой! — оглушительно крикнул человек с фонарем.

Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, прыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий; сзади, куда обернулся Нок, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.

Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных, глухих ящиков было держаться одного направления — куда бы оно ни вело, — кружиться и путаться означало гибель. Сжав зубы, с замокшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов, бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. В одном месте Нок толкнулся головой о нижний край вагона; от силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснила сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий — в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте — то была, покинутая им в момент встречи фонаря, песчаная дорожка, окаймленная палисадами; перепрыгнув забор, Нок мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану; Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом.

Бежать в точном смысле этого слова не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград — стволов, сплетенной чащи, бурелома и ям. Нок падал, вставал, кидался вперед,

опять падал, но скорость его отчаянных движений, в их совокупности, равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью — пока — было отдалиться, как можно недостижимее, от преследователей. Однако через пятнадцать — двадцать минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть, сев, он уронил голову на руки и стих; невольная слабость вдоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием.

«Гелли теперь дома, — подумал он, — да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты, отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там. Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову. Нок, приходи в город и отыщи ад... Впрочем, я разорвал его...»

Он вздрогнул, вспомнив об этом, но, покачав головой, застыл в горькой радости и темном покое. Он был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой, не виноватой ни в чьей судьбе, девушке. За что она должна возиться с бролягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Он снова утвердился в своей шаткой, болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей опять-таки, по крайнему его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением. Теперь он жалел, что прочитал адрес, но, попытавшись вспомнить его, убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому — и дом, и улица, и номер квартиры — от этого страдало самолюбие Нока. Он все-таки хотел сам не пойти; теперь воля его была ни при чем; им распорядилась, без принуждения, его память. Она же сделала его одиноким; он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган

внезапно отодвинулись на тысячу верст; город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город.

Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца, это воспоминание не вызвало приступа голода; но озноб и сухость во рту, принятые им, как случайные последствия треволнений, — усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неуправляемыми спазмами.

— Я не должен спать, — сказал Нок, — если засну, то завтра, совсем обессиленного, меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка.

Он встал, спросил у леса: «В какую же сторону я пойду, господа?» — и прислонился головой к дереву. Так, трясясь, выждал он момента, когда озноб сменился жаром; легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания — тишины и шорохов леса — фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно-певучую сторону. Высокие, нервные, и средние, покладистые, гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода, и Нок слабо кивнул ему.

— Ты, старина, не смолкай, — сказал он, — мне говорить не с кем и — помилуй Бог — идти не к кому...

Но стих и этот гудок.

Нок машинально, придерживаясь одного направления, брел, разговаривая вслух то с Гутаном, то с Гелли, то с воображаемым, неизвестным спутником, шагающим рядом. Временами он принимался петь арестантские песни или подражать звукам разных предметов, говоря стеклу: «ззинь!», дереву — «туп!», камню — «кокк!», но все это без намерения развлечься. Сравнительно скоро после того, как залился первый гудок, он очутился на ровном, просторном месте и, сквозь дремотную возбужденность жара, понял, что близок к городу.

Потому, что нащупывать вокруг было более нечего — ни стволов, ни кустов, Нок впал в апатию. Сев, он растянулся

и задремал; затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов. Как показалось ему, — он окреп; встав. Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи род головного убора — вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать.

Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть.

— Еще папирос, — прибавил он, механически воля ложкой по невымытой тарелке с супом.

Подняв глаза, он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого, горячего супа. Ложку и папиросу он, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Положив на стол серебряную монету, Нок сказал:

— Не обращайтесь, господа, никакого внимания. Рано я вышел из больницы, вот что.

Выйдя на улицу, он очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думал о преимуществах пишущей машины Ундервуд перед такой же Ремингтон, пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым, каменным лестницам Ангрской дороги на мост, а оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города. Здесь, неподалеку от площади «Светлый Шар», он посидел несколько минут на бульварной скамейке, соображая, стоит ли идти в порт днем, дабы спрятаться в угольном ящике одного из

пароходов, готовых к отплытию. Но порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками; Нат Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве.

«Опасно двигаться; опасно сидеть; все опасно после Гутана и вчерашней скачки с препятствиями», — сказал Нок, тупо рассматривая прохожих, в свою очередь даривших его взглядом минутного любопытства благодаря черной повязке на голове. В остальном он не отличался от присущего большому городу типа бродяг. Вдруг он почувствовал, что упадет, если посидит еще хоть минуту. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до Цветного Рынка и сел снова, на краю маленького фонтана, среди детей, прежде всего солидно положивших в рот пальцы, чтобы достойным образом воззреться на «дядю», затем презрительно возвратившихся к своей песочной стряпне.

Здесь на Нока бросился человек.

Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной «джонке».

— Стой! — и крикнул и сказал он.

Нок побежал, и это были последние его силы, которые тратил он, — вне себя, — содрогнувшись в тоске и ужасе.

За ним гнались, гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумный. И вдруг, с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударила его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось — он всегда помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот оторвут, вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер в побежавших назад людей. Улица шла вниз, крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок

остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она — жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь.

— Гелли, милая Гелли! — сказал он, падая к ее ногам. — Я... весь; все тут!

Последним воспоминанием его были странные, прямые, доверчивые глаза — с выражением защиты и жалости.

— Анна! — сказала Гелли сестре, смотрившей на бесчувственного человека с высоты своих пятнадцати лет, причастных отныне строгой и опасной тайне, — запри дверь; позови садовника и Филиппа. Немедленно сейчас же перенесем его черным ходом, через сад к доктору. Потом позвони дяде.

Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.

— Мы не слышали, бежал кто по лестнице или нет. — мягко сказала Гелли.

И кому в голову пришло бы спросить барышню почтенной семьи:

— Не вы ли спрятали каторжника?

С сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более что далее она лучше и интереснее. Но дальнейшее составило бы материал для целого романа, а не коротенькой повести. А главное вот что. Нок благополучно переплыл море и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУТОВ

I

— Итак, она вам отказала обоим? — спросил на прощанье хозяин степной гостиницы. — Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером, под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:

— Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор. даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле...

— Но что же особенного узнал трактирщик? — хмуро возразил Кист. — Ну... любил ты.. любил я... любили одну. Ей — все равно... Вообще был ведь разговор этот о женщинах.

— Ты не понимаешь, — сказал Род. — Мы сделали нехорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в... за стойкой. Ну, и довольно об этом.

Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они мысленно смотрели на Кэт в телескоп, а никто

так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушались.

Как сказал Кист: «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.

II

«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба — Род и Кист — пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть немного жестоко, рассуждал семнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорят только при настоящей разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.

— Ступайте, — сказала Кэт. — Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.

Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и малоразговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: «цып-цып...»

III

Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смещение скал — отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти

весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня — обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти мили полторы влево, *затем* начать восхождение.

На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ширина пропасти была значительна, но в общем казалась, на подходящих для того местах, доступной скачку коня.

Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой — налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род — его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.

Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.

IV

Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отделенный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако из всех мест, по которым они прошли, разыскивая обход, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку, с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: оно было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.

Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолевать трещину — значило сократить путь не меньше, как дней на пять. Между тем обычный путь с воз-

вращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское «S», которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.

— Будь дерево, — сказал Род, — но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.

Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.

— Надо думать, что перед тобой натянута черное полотно, — сказал Род, — только и всего. Представь, что пропасти нет.

— Разумеется, — сказал Кист рассеянно. — Немного холодно... Точно купаться.

Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.

— Итак... — начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку.

— Сначала я, а потом ты, — сказал он. — Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.

Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему всем своим существом.

Кист встал. Он был немного бледен.

— Готово, — сказал Кист. — Жду тебя с первой почтой.

Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки и, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванется с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист, неожиданно для себя, представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль — одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста — и это сбilo его.

Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного — рука Киста скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдвленную руку Рода.

Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз. «Отпусти!» — сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому. «Ты свалишься, говорю тебе, — продолжал Род, — отпусти меня и не забывай, что *именно на тебя посмотрела она особенно*».

Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль — мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.

Рука разжалась...

Кист взглянул вниз, затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.

Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверьми, к нему, распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.

— А где Род? — поспешно спросила она, едва подала руку. — Или вы один, Кист?!

«Если ты сделала выбор, то не ошиблась», — подумал вошедший.

— Род... — повторила Кэт. — Ведь вы были всегда вместе...

Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.

ГОЛОС И ГЛАЗ

I

Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае, делать движения только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравновесивая себя в светлом пространстве таинственной работы зрачков, представляясь вдруг ясно, так волновала его, что он весь дергался, как во сне.

Оберегая нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он безусловно станет вновь зрячим. Какой-нибудь десятитысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду:

— Будьте спокойны. Для вас сделано все, остальное приложится.

Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид услышал голос подходящей к нему Дэзи Гаран. Это была девушка, служившая в клинике; часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая

дружеская рука слегка прильнет к окаменевшей от неподвижности голове. Так и случилось.

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда и он услышал стремительный женский голос, распорядившийся устройством больного, в нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком его голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь — стало его целью ради нее.

Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, сознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением, и она знала, что он любит ее.

До операции они подолгу и помногу разговаривали. Рабид рассказывал ей свои скитания, она — обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они

придумывали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее были:

— До свидания пока.

— Пока... — отвечал Рабид, и ему казалось, что в «пока» есть надежда.

Он был прям, молод, смел, шутив, высок и черноволос. У него должны были быть, если будут, черные блестящие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах. И ее болезненное, неправильное лицо покрылось нежным румянцем.

— Что будет? — говорила она. — Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но откройте его тюрьму, профессор Ребальд, прошу вас!

II

Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Рабид, профессор, и помощник его, и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабида.

— Дэзи! — сказал он, думая, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, почувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты как замороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотела бы предстать новорожденному взгляду. — вздохнула и покорилась судьбе.

Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Рабид лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал.

— Дело сделано, — сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения. — Смотрите, откройте глаза!

Рабид поднял веко, продолжая думать, что Дэзи здесь, и стыдясь вновь окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесь.

— Уберите материю, — сказал он, — она мешает. — И, сказав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешенной как бы на самое лицо, есть оконная занавесь в дальнем конце комнаты.

Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающих все его истощенное, належащее тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дэзи. Блаженно улыбаясь, он взял со стола стакан; рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место.

Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэзи и, с правом получившего способность борьбы за жизнь, сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной, ученой беседы вполголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит.

В быстром мелькании мыслей, наполнявших его, и в страшном возбуждении своем он никак не мог припомнить подробностей этих минут и установить, когда наконец он остался один. Но этот момент настал. Рабид позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дэзи Гаран, и стал блаженно смотреть на дверь.

III

Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистотой одиночества комнату и, со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, зачеркивающей все

встречи, оделась в хорошенькое летнее платье. Свои густые волосы она прибрала просто, — именно так, что нельзя ничего лучше было сделать этой темной, с влажным блеском, волны, и, с открытым всею лицом, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабид, а некто совершенно иной. И, припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил ее.

Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабид лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась.

— Кто вы? — вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.

— Правда, я как будто новое существо для вас? — сказала она, мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое.

В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и страдание отпустило ее. Не произошло чуда, но весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви.

— Теперь, только теперь, — сказал Рабид, — я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне. Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите мне. Я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно разрешить говорить все.

В этот момент его, рожденное тьмой, точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она.

АКВАРЕЛЬ

Клиссон проснулся не в духе.

Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход «Деннем».

Должность кочегара предназначалась Клиссону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы «Деннем» ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клиссон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у нее всегда было много работы.

Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, Клиссон курил папироску и размышлял, каким образом получить крону? День был праздничный; вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса.

Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клиссон, смотря на желтые и белые цветы, представлял, что это — серебряные и золотые монеты. Он насчитал сорок штук и вздохнул.

Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол.

В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух кроватей и старого плетеного кресла. За дверью, в углу, целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки; пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены ог-

ромные корзины с грязным бельем распространяли запах тлена и сырости.

Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку, она выразительно откатилась, напомнив Клиссону, что надо опохмелиться.

Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у нее денег, Клиссон понуро оделся; опасаясь повторения вчерашних нападков, он не торопился вступать в разговор.

Они стали молча пить чай. По тому, как Бетси вырвала из руки кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клиссон мрачно убедился, что прачка не забыла «Деннем». Терять было нечего. Клиссон сказал:

— Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг?

— А будь я проклята, если дам, — спокойно ответила Бетси. — Я пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать; начну пить, как ты.

Они переглянулись, потом затихли. Клиссон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал:

— Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь. Надела рубашку чужую, с кружевами, и хвасталась!

— Так ты мне не давал бы пить. Я столько не пила прежде. Теперь пью и буду пить, а денег не дам.

Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. Едва жена скрылась, Клиссон подскочил к корзине и разрыл белье в том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клиссон взял крону и быстро привел белье в порядок, сев затем снова к столу.

Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на Клиссона, но не догадалась о краже. Вздыхнув, она стала вытряхивать за окно одеяло, а Клиссон спрягал кепи

во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну; он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедаясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая.

В переполненном вагоне Клиссон окончательно успокоился.

Приехав через полчаса в город, Клиссон любовался своей кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрогнул: Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, невольно остановясь, втянул голову в плечи.

Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клиссону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и клетчатого платка, приближающихся с немолимой быстротой, расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству, и Клиссон устремился прочь, разглядывая все двери и входы с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик: «Не уйдешь, подлец!» — Клиссон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой соображения, вызванной ужасом, Клиссон прочел надпись овального щита: «*Весенняя выставка акварелистов*» — и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена и что Бетси потеряла из вида его убегающую спину.

Клиссон прошел в зал, где с высоких стен глянуло на него множество лиц. В его планы не входило критиковать Смайльса и Дежура; он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем... явственно признал Бетси: она, холодно

улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клиссона, взявшего ее крону.

— Не ушел? — сказала Бетси ледяным тоном. — Пойдем-ка поговорим.

— Только не здесь, — взмолился Клиссон, устремляясь вперед. — Здесь выставка... Я поехал на выставку... Где же ты была? Не видел тебя в трамвае...

— В следующем вагоне. Ответь: долго будет так? Подлец!

— Я не на привязи у тебя, — огрызнулся Клиссон, шагая все быстрее среди толпы.

Стараясь говорить тихо, они бранились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала. Вороватая душевная тяжесть Клиссона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку; подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клиссон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло, и Клиссон начал останавливаться возле картин, — хотя ему было не до картин, — выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный шепот: «Бездельник! Лицемер! Пьяница!» — или: «Немедленно уходи отсюда! Отдай деньги!»

— Замолчи! — сказал Клиссон так громко, что, побоясь скандала, женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую Клиссон уставился исподлобья, как на улыбающегося врага. Человек десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникающего сквозь листву и падающего на заросшую плющом стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клиссону знакомой.

— Похоже, что это наш дом, — произнес он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь.

— Сбрэндил ты, что ли?

Но чем больше прачка всматривалась в картину, тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная крона. Она узнала окна, скамейку; узнала ветви клена и дуба, между которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов, — все это не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и Клиссон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет.

— За крыльцом помойное ведро; его не видно! — радостно заявила Бетси.

— Да-а... а внутри-то?! Хоть бы ты подмела, — с горечью отозвался Клиссон.

Они отошли в угол; там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и складным стулом.

— Я тогда же подумала, — сказала она, — идет и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить, — ни на кого не похож! А ты пропал три дня. Два дня я тебя искала.

Они наговорились и вернулись к картине, так необычно уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось Клиссону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала:

— Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет! Посмотрите на плющ!

Услышав это, Клиссон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала дей-

ствовать, они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом.

Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем второй год», — мелькнуло у них. Клиссон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок.

— А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Ребен, — сказала Бетси, — потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук не жалею. Ну... раз уж украл, так поди выпей... только не на все.

Клиссон помолчал, затем шепнул:

— Пойдем. Я выпью. Уж раз я сказал, я слово свое держу. Завтра надо поговорить с Гобсоном, — Гобсон обещал мне место, если Снэк откажется.

— Будь уверен, что тебя водят за нос.

— Ну, ничего, выпьем, с Гобсоном поговорим.

Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо.

1929 г.

ГНЕВ ОТЦА

Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например, дырка на желтой портьере, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа, — но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия — стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников — сделаться преступником или бродягой — и, окончив выговор, сказала:

— Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я обязательно безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:

— Его гнев будет ужасен!

Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокомерно, но неоднократное упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев, — значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.

Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:

— Хуг!

Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.

— Все спокойно на Ориноко, — сказал он. — Гуроны преступили в прерию.

Но Том опечалился и не поддался игре.

— Не знаете ли вы, что такое гнев? — мрачно спросил он. — Никому не говорите, что я говорил с вами о гнев.

— Гнев?

— Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним придет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.

— Ах, так! — сказал Мунк с диким и непонятым для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага. — Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоуменном рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли: он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.

Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой.

Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кидд (из книги «Береговые пираты») должен был пить ром на необитаемом острове в совершенном и отвратительном одиночестве.

Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:

— За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.

Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добродушно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрывся под полом деревянной беседки.

Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.

О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил.

Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.

По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и, крадучись, проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.

Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным

стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено. Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.

— Скажи, Том, — начал дядя, — достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?

— Я думал, — сказал Том. — Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который придет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.

Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.

— Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака, — сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета. — Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.

С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.

Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цинний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.

Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже, рядом с пожилым черноусым человеком, сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами.

Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.

Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» — думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета с жадной утешения и пощады.

С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга — все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы.

— Да, я выехал днем раньше, — говорил Беринг, — чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.

— Я приведу его, — сказал Карл.

— Я пришел сам, — сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.

Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку.

Дядя Карл вытарашил глаза.

— Но ведь ты был наказан! Был заперт!

— Сегодня он амнистирован, — заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.

«Не это ли его гнев? — подумал Том. — Едва ли. Не похоже».

— Она будет твоя мать, — сказал Беринг. — Будьте матерью этому дурачку, Кэт.

— Мы будем с тобой играть, — шепнул на ухо Тома теплый щекочущий голос.

Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.

Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держа-

ли свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.

Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и жлет, когда его выпустят.

Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в шинки ящики. Несколько сундуков — среди них два с откинутыми к стене крышками — непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.

Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг и, держа его в вытянутой руке, осмелев, подступил к раскрытому сундуку.

Тогда он увидел гнев.

Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза.

Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.

Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.

— Я убил твой гнев! — кричал он в восторге и потрясении. — Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!

— Успокойся, Том, — сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына. — Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!

КОМЕНДАНТ ПОРТА

I

Когда стемнело, на ярко освещенный трап грузового парохода «Рекорд» взойшел Комендант. Это был очень популярный в гавани человек семидесяти двух лет, прямой, слабого сложения старичок. Его сморщенное, как сухая груша, личико было тщательно выбрито. Седые бачки торчали подобно плавникам рыбы; из-под седых козырьков бровей приятной улыбкой блестели маленькие голубые глаза. Морская фуражка, коричневый пиджачок, белые брюки, голубой галстук и дешевая тросточка Коменданта на ярком свете электрического фонаря предстали в своем убожестве, из которого эти вещи не могла вывести никакая старательная починка. Лопнувшие двадцать два раза желтые ботинки Коменданта были столько же раз зашиты нитками или скрепляемы кусочками проволоки. Из грудного кармана пиджака выглядывал кусочек пришитого накрепко цветного шелка.

Заботливо потрогав воротничок, а затем ерзнув плечами, чтобы уладить какое-то упрямство подтяжек, старичок остановился против вахтенного и резко растопырил руки, склонив голову набок.

— Том Ластон! — воскликнул Комендант веселым, дрожащим голосом. — Я так и знал, что опять увижу вас на этом прекрасном пароходе, мечтающего о своей милой Бет-

си, которая там... далеко. Гром и молния! Надеюсь, рейс идет хорошо?

— Кутгей! — крикнул Ластон в пространство. — Пришел Комендант. Что?

— Гони в шею! — прилетел твердый ответ.

Старичок взглядом выразил просьбу, недоумение, игривость. Его тросточка приподнялась и опустилась, как собачий хвост в момент усилий постигнуть хозяйское настроение.

— Ну вот, сразу в шею! — отозвался Ластон, добродушно хлопая старика по плечу, отчего Комендант присел как складной. — Я думаю, Кутгей, что ты захочешь поздороваться с ним. Не бойся, Комендант, Кутгей шутит.

— Чего шутить! — сказал, подходя к нему, Кутгей, старший кочегар, человек костлявый и широкоплечий. — Когда ни явись в Гертон, обязательно придет Комендант. Даже надоело. Шел бы, старик, спать.

— Я только что с «Абрагама Репп», — залепетал Комендант, стараясь не слышать неприятных слов кочегара. — Там все в порядке. Шли хорошо, на рассвете «Репп» уходит. Пил кофе, играл в шашки с боцманом Толби. Замечательный человек! Как поживаете, Кутгей? Надеюсь, все в порядке? Ваше уважаемое семейство?

— Кури, — сказал Кутгей, суя старику черную сигарету. — Держи крепче своей лапкой — уронишь.

— Ах, вот и господин капитан! — вскричал Комендант, живо обдергивая пиджачок и суетливо подбегая к капитану, который шел с женой в городской театр. — Добрый вечер, господин капитан! Добрый вечер, бесконечно уважаемая и... гм... Вечер так хорош, что хочется пройтись по эспланаде, слушая чудную музыку. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке? Не штормовали? Здоровье... в наилучшем состоянии?

— А... это вы, Тильс! — сказал, останавливаясь, капитан Генри Гальтон, высокий человек лет тридцати пяти, с крупным обветренным лицом. — Еще держитесь... Очень хоро-

шо! Рад видеть вас! Однако мы торопимся, а потому берите этот доллар и проваливайте на кухню к Бутлеру, там побеседуйте. Всего наилучшего. Мери, вот Комендант.

— Так это вы и есть? — улыбнулась молодая женщина. — «Комендант порта»? Я о вас слышала.

— Меня все узнают! — старчески захохотал Тильс, держа в одной руке сигарету, в другой — доллар и тросточку. — Моряки — великий народ, и наши симпатии, надеюсь, взаимны. Я, надо вам сказать, обожаю моряков. Меня влечет на палубу... как... как... как...

Не дослушав, капитан увлек жену к берегу, а Тильс, вежливо приподняв им вслед фуражку, закончил, обращаясь к Ластону:

— Молодчина ваш капитан! Настоящий штормовой парень. С головы до ног.

Тут следует пояснить, что Коменданта (это было его прозвище) в гавани знали решительно все, от последнего трактира до канцелярии таможни. Тильс всю жизнь прослужил клерком конторы склада большой частной компании, но был наконец уволен по причинам, вытекающим из его почтенного возраста. С тех пор его содержала вдовья сестра, у которой он жил, бездетная пятидесятилетняя Ревекка Бартельс.

Тильсу помешала сделаться моряком падучая болезнь, припадки которой к старости хотя исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджака большой бутерброд, давала десять центов на самоличные мужские расходы, и, помахивая тросточкой, Комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов.

Закурив дрожащей, ссохшейся рукой сигаретку, Комендант правильными, мелкими шагами направился к кухне, где, увидев его брови и баки, повар залился хохотом.

— Я чувствовал, что ты явишься, Тильс! — сказал он наконец, подвигая ему табурет и наливая из кофейника кружку кофе. — Где был? «Стеллу» ты, надо думать, не заметил, она стала за нефтяной пристанью, напротив завода. Там теперь как раз играют в карты и пьют.

— Не сразу, не сразу, уважаемый Питер Бутлер, — ответил, вздохнув, Тильс и, придвинув табурет к столу, сел, держа руки сложенными на крючке трости. — Как ваше уважаемое здоровье? Хорош ли был рейс? Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения? Гм... Я уже был на «Стелле». Тогда там еще не начинали играть, а только послали суперкарга купить карты. Так! Но я, знаете ли, я скоро ушел, потому что там есть две личности, которые относятся ко мне... ну да... недружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона и что... Естественно, я расстроился и не мог высказать им свою любовь ко всему... к бравым морякам... к палубе... Но это у меня всегда, и вы знаете...

Тильс, закрутив, всхлипнул. Бутлер полез в шкафчик и стукнул о стол бутылочкой ананасного ликера.

— Такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик, — сказал Бутлер. — Верно? Выпьем и забудем этих прохвостов. Твое здоровье! Мое здоровье! Алло! Гоп!

Опрокинув полчашки напитка в мясистый рот, Бутлер утер нижнюю губу большим пальцем и сосредоточенно взглянул на Тильса, который, медленно процедив свой стаканчик, сделал губами такое движение, как будто хотел сказать «а». Прослезясь и высморкавшись, Тильс начал сосать потухшую сигаретку.

— Еще?

— Благодарю вас. Быть может, потом. Гром и молния! «Стелла» — хороший пароход, очень хороший, — говорил Тильс, и при каждом слове его голова слабо тряслась. — Ее спустили со

стапеля в тысяча девятьсот первом году. Черлей больше не служит на «Ревуне», я видел его вчера в гостинице Марлея. «Отдохну, говорит. Вот что, — говорит Черлей, — у меня счета неладные с компанией, не выплатили полностью премии». Был сегодня в «Черном быке», заходил справляться, как и что. Все благополучно. Румпер перенес пивную на другой угол, потому что тот дом продан под магазин. Ватсон никак не может добиться пенсии, такая беда! Пьет, разрази меня гром, пьет здорово, как верблюд или морской змей. Приятно смотреть. Возьмет он кружку, посмотрит на нее. «В Филиппинах, — говорит Ватсон, — да, говорит, бывали дела. В Ямайке, говорит, хорошо». «Рояль Стар» потонул. Говорят здесь, попал в циклон. Пушки и ядра! Вы знали Симона Лакрея? Пирата? Симон Лакрей был пират, и он как-то угощал меня после... одного дела. Так вот, он сказал: «Зазубрину» не потопили бы, говорит, если бы, говорит, им не помог сам дьявол». Тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина Лакрей, прямо скажу! Гром и молния! Я тогда говорил ему: «Знаете что, Лакрей, берите меня. На абордаж! Гип, гип, ура! На жизнь и смерть!» Но он чем-то был занят, он не послушался. Тогда и «Зазубрина» была бы цела. Я это знаю. При мне даже дьявол...

— Конечно, Комендант, — сказал Ластон, появляясь в дверях кухни, — ты навел бы у них порядок.

— Естественно, — подтвердил Тильс. — Даже очень. Естественно.

Выпив еще стаканчик, Тильс воодушевился, видимо, не собираясь скоро уйти, и начал перечислять все встречи, путая свои собственные мысли с тем, что слышал и видел за такую долгую жизнь. Он не был пьян, а только болтлив и чувствовал себя здоровым молодым человеком, готовым плыть на край света. Однако уже он два раза назвал повара «сеньор Рибейра», принимая его за старшего механика парохода «Гренель», а Ластона — «герр Бауман», тоже путая с боцманом шхуны «Боливия», и тогда повар нашел, что пора

выставить Коменданта. Для этого было только одно средство, но Комендант безусловно подчинился ему. Подмигнув повару, Ластон сказал:

— Ну, Комендант, иди-ка помоги нашим ребятам швартоваться на «Пилигрима». Сейчас будем перешвартовываться.

Тильс съежился и исподлобья, медленно взглянул на Ластона, затем нервно поправил воротничок.

— «Пилигрима» я знаю, — залепетал Тильс жалким голосом. — Это очень хороший пароход. В тысяча девятьсот четырнадцатом году две пробоины на рифах около Голодного мыса... ход двенадцать узлов... Естественно.

— Ступай, Тильс, помоги нашим ребятам, — притворно серьезно сказал повар.

Комендант медленно натянул покрепче козырек фуражки и, с трудом отдираясь от табурета, встал. Толщина массивных канатов, ясно представленная, выгнала из его головы дребезжащий старческий хмель; он остыл и устал.

— Я лучше пойду домой, — сказал Тильс, стремительно улыбаясь Бутлеру и Ластону, которые, скрестив руки на груди, важно сидели перед ним, полузакрыв глаза. — Да, я должен, как я и обещал, не засиживаться позже восьми. Швартуйтесь, ребята, качайте свое корыто на «Пилигрима». Ха-ха! Счастливой игры! Я пошел...

— Вот история! — воскликнул Бутлер. — Уже и пошел. Ей-богу, Комендант, сейчас вернутся ребята и боцман, ты уж нам помоги!

— Нет, нет, нет! Я должен, должен идти, — торопился Тильс, — потому что, вы понимаете, я обещался прийти раньше.

— А отсюда вы куда? — сказал, входя, молодой матрос Шенк.

— Здравствуйте, молодой человек! Хорош ли был рейс? Здоровье вашей многоуважаемой...

— Матушки, чтобы вы не сблизись, — отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в Морской клуб. Там за буфетом служит одна девица — Пегги Скоттер.

— Пегги Скоттер? — шамкнул Тильс, несколько оживясь и даже не трюся больше перед толстыми канатами «Рекорда». — Как же не знать? Я ее знаю. Отличная девица, клянусь выстрелом в сердце. Я вам говорю, что знаю ее.

— Тогда скажите ей, что ее дружок Вилли Брант помер от чумы в Эно месяц тому назад. Только что пришел «Петушиный гребень», с него был матрос в «Эврике», где сидят наши, и сообщил. Кому идти? Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревет. А вы, Тильс, сможете, вы человек твердый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда?

— Правда, — решительно сказал Ластон, двинув ногой.

— Правда, — согласился, помолчав, Бутлер.

— Только, смотрите, сразу. Не мучайте ее. Не поджимайте хвост, — учил Шенк.

— Да, тянуть хуже, — поддакнул Бутлер. — Отрезал — и в сторону.

Сжав губы, старичок опустил голову. Слышалось мерное, тяжелое, как на работе, дыхание моряков.

— Дело в том, — снова заговорил Шенк, — что от вас это будет все равно как шепот дерева, что ли, или будто это часы протикают: «Брант помер от чумы в Эно». Так-то легче. А если я войду, то будет, знаете, неприлично. Я для такого случая должен напиться.

— Да. Сразу! — хрипло крикнул Тильс и топнул ножкой. — Смело и мужественно. Сердце чертовой девки — сталь. Настоящее морское коньго! Обещаю вам, Шенк, и вам, Бутлер, и вам, Ластон. Я это сделаю немедленно.

II

Пегги Скоттер хозяйничала в чайном буфете нижней залы клуба, направо от вестибюля. Это была стройная, плотного сложения девушка, веснушчатая, курносая; ее серые глаза

смотрели серьезно и вопросительно, а темно-рыжие волосы, пристегнутые на затылке дюжиной крепких шпилек, блестели, как хорошо вычищенная бронза.

Когда ее помощница в десятый раз принялась изучать покрой обшитого кружевами рукава своей начальницы, Пегги увидела Тильса. Он подходил к буфету по линии полукруга, часто останавливаясь и вежливо кланяясь посетителям, которых знал.

— Смотрите, Мели, пришел Комендант, — сказала Пегги, сортируя печенье на огромном фаянсовом блюде. — Он метит сюда. Ну, ну, трудись ножками, старый болтун!

Еще издали кланяясь буфетчице, Тильс вплотную подошел к стойке буфета. Пегги спросила его взглядом о старости, о трудах дня и улыбнулась его торжественно-таинственному лицу.

— Здравствуйте, многоуважаемая, цветущая, как всегда... — начал Тильс, но замолчал и тихо закончил: — Надеюсь, рейс был хорош... Извините, я не о том. Чудный вечер, я полагаю. Как поживаете?

— Хотите, Комендант? — сказала Пегги, протягивая ему бисквит. — Скушайте за здоровье Вильяма Бранта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро вернется. Так он писал еще две недели назад. Когда он придет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома... без чая, и сама присяду, а теперь, знаете, отойдите, потому что, как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают.

— Благодарю вас, — сказал Тильс, медленно засовывая бисквит в карман. — Да... Когда придет Брант. Пегги! Пегги! — вдруг вырвалось у него.

Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и бестолков.

Пегги удивилась, потому что Комендант никогда не позволял себе такой фамильярности. Она пристально смотрела на него, даже нагнулась.

Тильс не мог решиться договорить, — за этим веселым буфетом с веселыми цветами и красивой посудой не мог тут же на весь зал раздаться безумный крик женщины. Он нервно проглотил ту частицу воздуха, выдохнув которую мог бы сразить Пегги словами истины о ее Бранте, и трусливо засемянил прочь, кланяясь с изворотом, спереди назад, как шатающийся волчок.

Пегги больше не разговаривала с Мели о покрое рукава. Что-то странное стояло в ее мозгу от слов Тильса: «Пегги! Пегги!» Она думала о Бранте целый час, стала мрачна, как потухшая лампа, и наконец ударила рукой о мраморную доску буфета.

— Дура я, что не остановила его! — проворчала Пегги. — Он чем-то меня встревожил.

— Разве вы не поняли, что Комендант пьяненький? — сказала Мели. — От него пахло, я слышала.

Тогда Пегги повеселела, но с этого момента в ее мыслях села черная точка, и, когда, несколько дней спустя, девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта черная точка послужила рессорой, смягчающей тяжкий толчок.

— Вот и я, девочка, — сказал Тильс, появляясь наконец дома, старой женщине, сидевшей в углу комнаты за швейной машиной. — Очень устал. Все, кажется, благополучно, все здоровы. Рейс был хорош. Побыл на «Травиате», на «Стелле», на «Абрагаме Репп», на «Рекорде». Встретил капитана Гальтона. «Здравствуйте, — говорит мне капитан. — Здорово, говорит, Тильс, молодчина! Вы еще можете держать паруса к ветру». Приглашал в театр. Однако при шумном обществе я стесняюсь. Выпили. Капитан подарил мне бисквит, доллар и это... Нет, я ошибся, бисквит дала Пегги Скоттер. Умер ее жених. Неприятное поручение, но я мужественно исполнил его. Какие начались... слезы, крик... Я ушел.

— Вы ничего не сказали Пегги, братец, — отозвалась Ревекка. — Я знаю вас хорошо. Ложитесь. Если хотите кушать, возьмите на полке миску с котлетами.

Прошел год. Снова пришел «Рекорд». Но Комендант не пришел, — он умер оттого, что закашлялся, поперхнувшись суном. Тильс кашлял и задыхался так долго, что в его слабом горле лопнул кровеносный сосуд; старик ослабел, лег, и через два дня его не стало.

— Чего-то не хватает, — сказал Ластон Бутлеру с наступлением вечера. — Кто теперь расскажет нам разные новости?

Едва умолкли эти слова, как на палубу, а затем в кубрик торопливо вошел дикого вида босой парень, высокий, бесстыжий и краснокожий.

— Здорово! — загремел он, махая дикого вида шляпой. — Как плавали, морячки? Рейс был хорош? Семейство еще живое? Ну-ну! Угостите стаканчиком!

— Кто ты есть? — спросил Бутлер.

— Комендант порта! Тильс сдох, ну... я за него.

Ластон усмехнулся, молча встал и молча утащил парня под локоть на мостовую набережной.

— Прощай! — сказал матрос. — Больше не приходи.

— Странное дело! — возопил парень, когда отошел на безопасное расстояние. — Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые? А вам же я хотел услужить, воры, мошенники, пройдохи, жратва акуля!

— Нет, нет, — ответил с палубы, не обижаясь на дурака, Ластон. — Подделка налицо. Никогда твоя пасть не спросит как надо о том, «был ли хорош рейс».

Содержание

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ. Роман 3

РАССКАЗЫ

Капитан Дюк 155

Позорный столб 179

Возвращенный ад 185

Корабли в Лиссе 219

Сто верст по реке 242

Четырнадцать футов 286

Голос и глаз 291

Акварель 296

Гнев отца 302

Комендант порта 308

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ

ПРИБОРАТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

В Москве:

- м. «ВДНХ», г. Мытиши, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «ХЛ-2», т. (495) 641-22-89
- м. «Бауманская», ул. Спартакoвская, д. 16, т. (499) 267-72-15
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судоcтроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Маяковская», ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8, т. (495) 251-97-16
- м. «Менделеевская», ул. Новослободская, д. 26, т. (495) 251-02-96
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, стр. 1, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, т. (495) 306-18-97
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (495) 977-74-44
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шарицкая», ул. Луганская, д. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТРК «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, т. (495) 229-97-10
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, корп. 1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Иридиум», Крюковская площадь, д. 1

В регионах:

- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Екатеринбург, ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, д. 50, т. (343) 216-55-02
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 71-85-64
- г. Краснодар, ТЦ «Красная площадь», ул. Дзержинского, д. 100, т. (861) 210-41-60
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, т. (3912) 23-17-65
- г. Новосибирск, ТЦ «Мега», ул. Ватутина, д. 107, т. (383) 230-12-91
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ТЦ «7 пятниц», ул. Революции, д. 60/1, т. (342) 233-40-49
- г. Ростов-на-Дону, ТЦ «Мега», Новочеркасское ш., д. 33, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, ТЦ «Виктория Плаза», т. (4912) 95-72-11
- г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 185, т. (812) 766-22-88
- г. Самара, ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, д. 30, т. 8(908) 374-19-60
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Уфа, пр. Октября, д. 26-40, ТРЦ «Семья», т. (3472) 293-62-88
- г. Чебоксары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д. 105а, т. (8352) 28-12-59
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88а, т. (8202) 53-61-22

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой» или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковью:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-и этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

Литературно художественное издание

Грин Александр Степанович

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

Роман

РАССКАЗЫ

Ведущий редактор *И.Л. Шишкова*
Технический редактор *Н.Н. Хотулева*
Компьютерная верстка *Р.В. Рыдалина*

Подписано в печать 18.01.2010.

Формат 84x108¹/₃₂. Усл. печ. л. 16,8.

С.: Впекл. чтение. Тираж 3000 экз. Заказ № 1788и.

С.: БП-2. Тираж 2000 экз. Заказ № 1788и.

С.: КнВВ-2. Тираж 2000 экз. Заказ № 1788и.

С.: Русская классика. Тираж 3000 экз. Заказ № 1788и.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ООО «Издательство АСТ»

141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, 96

ООО «Издательство Астрель»

129085, Москва, пр-д Ольминского, 3а

Наши электронные адреса:

www.ast.ru E-mail: astpub@aha.ru

ОАО «Владимирская книжная типография»

600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.

Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов

H4500e



ИИИ «Мирный мир»
Золотая цепь Рассказ



Цена 35 500

www.elkniga.ru

ISBN 978-5-17-064587-9



9 785170 645879